

СВ'2011

СЕВЕРНАЯ
АВРОРА





СЕВЕРНАЯ АВРОРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№14'2011

Литературно-художественный журнал

Содержание

Елена Скульская (Эстония). Короче, чем жизнь. <i>Из книги об отце</i>	3
Феликс Чечик (Израиль). Документальное кино. <i>Стихи</i>	33
Борис Хазанов (Германия). Универсальная грамматика. <i>Рассказ</i>	40
Евгений Орлов (Латвия). Двенадцать винных ягод. <i>Стихи</i>	55
Петр Ильинский (США). Обратный путь. <i>Рассказ</i>	61
Рафаэль Шустерович (Израиль). Посвящения. <i>Стихи</i>	85
<i>Петербургские мосты</i>	
Ольга Пуссинен (Финляндия). «Полукровки, метисы...». <i>Стихи</i>	89
Сергей Пичугин . (Латвия). Поэт. <i>Стихи</i>	92
Ольга Гришина (Бельгия). «Туман поднимается – темный...». <i>Стихи</i>	98
Семен Крайтман (Израиль). «Дорога из Тиберии назад...». <i>Стихи</i>	101
<i>Балтийские строфы</i>	
Руслан Соколов (Даугавпилс). «Осенью...». <i>Стихи</i>	107
Павел Васкан (Рига). «Что сказать...». <i>Стихи</i>	114
Евгения Ошуркова (Рига). Vert. <i>Стихи</i>	117
Сергей Смирнов (Вильнюс). Ворон. <i>Стихи</i>	120
Владимир Трофимов (Клайпеда). Дождь в порту. <i>Стихи</i>	123
Светлана Лаптева (Висагинас). Молитва. <i>Стихи</i>	124
Николай Гуданец (Рига). Песнь благодарности. <i>Стихи</i>	125
<i>Финская тетрадь</i>	
Алексей Ланцов (Сало). «Мой сосед, Тоссавайнен...». <i>Стихи</i>	128
Татьяна Перцева (Хельсинки). Padla internacionalis. <i>Рассказ</i>	130
Елена Лапина-Балк (Хельсинки). Клоунада. <i>Рассказ</i>	134
Анна Людвиг (Германия). Сорок восемь шагов. <i>Стихи</i>	139
Аркадий Маргулис (Израиль). Испанский гранд. <i>Рассказ</i>	143
Михаил Блехман (Канада). Грог. <i>Рассказ</i>	147
<i>Молодые голоса</i>	
Таисия Ковригина (Литва). Утренние гимны. <i>Стихи</i>	155
Кристина Маиловская (Финляндия). «Я – такая-сякая!...». <i>Стихи</i>	165

Голос минувшего

Константин Вогак (Франция). Опять мне Отчизна снится. *Стихи* 170
(публикация Р.Б. Евдокимова-Вогака)

Леонид Рябков (Молдова). Два желания. *Рассказ* 176

Инна Иохвидович (Германия). Быть счастливой. *Рассказ* 186

Семен Каминский (США). Мест нет. *Рассказ* 191

Американский дивертисмент

Игорь Джерри Курас (Бостон). Дорогой галстук. *Рассказ* 195

Виктор Бердник (Лос-Анджелес). Инфернальница. *Рассказ* 197

Борис Юдин (Нью-Йорк). Подарочек. Дела семейные *Рассказы* 203

Людмила Агеева (Германия). Юбилейный лытдыбр. *Рассказ* 210

Ирина Шиповская (Германия). Дрезденская вигилия. *Эссе* 218

«СЕВЕРНАЯ АВРОРА»

Главный редактор

Евгений Лукин

В специальном выпуске журнала представлены произведения наших соотечественников, кто волею судеб сегодня живет за пределами России. Среди авторов – не только известные писатели русского зарубежья Борис Хазанов, Людмила Агеева и Елена Скульская, поэты Феликс Чечик, Евгений Орлов, Рафаэль Шустерович, но и молодые, подающие надежды литераторы Таисия Ковригина и Кристина Маиловская. Неповторимый колорит придадут изданию стихи Ольги Гришиной, Семена Крайтмана, Сергея Пичугина и других участников Международного поэтического фестиваля «Петербургские мосты», приобретшего широкое признание и поддержанного руководством культурной столицы России.

Специальный выпуск – это совместный проект редакции журнала и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках «Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики РФ в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

На обложке представлены картины Ирины Шиповской из цикла «Мой Дрезден».

На 1 и 4 страницах обложки: Ирина Шиповская. Фейерверк. Холст, масло. 2006.

На 2 странице обложки: Ирина Шиповская. Фрауенкирхе. Холст, масло. 2006.

На 3 странице обложки: Ирина Шиповская. Цвингер. Холст, масло. 2006.

© «Северная Аврора», 2011

© Е.В. Лукин. Идея, составление, 2011

© Коллектив авторов, 2011

© И.А. Шиповская. Иллюстрации, 2011

© Обложка: оформление Д.Б. Тимофеева, 2011

КОРОЧЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ

Из книги об отце

Боль сильнее, чем жизнь,
страшнее, чем жизнь,
и – короче.

Лиловые подтеки на стене
растений, откликающихся льстиво
на имя – тень. Есть надписи курсивом.
Лоб, желтизной играющий с песком,
дарует смерть, не отнимая жизни.
На амнезию ждать дороговизны.
И дешев сыск растения, ползком
язык подтягивающего к цели:
заговорить –

берется кровь унять...

Как унимает клавиши, из ссылок
вернувшийся на землю виртуоз;
он бережлив, он косится на жилы,
как лошадь на бегу – оскал откинув вбок.

Что Демосфен? Всего-то из камней
сооружавший в глотке мегафоны.
Попробуй-ка теперь,

набравши в рот свободы
со дня земли, ущелье для речей
ушибленных построить. То-то дрожи:
до ненависти разевает вопль
и в мутной жажде сглатывает кровь.

Куда там! Мел. Пастельные тона.
Лоб желтизной приманивает блики.
Чтецу сказать: – Позвольте, вас не слышат!
Все хочется сказать:
– Свобода за спиной.

Помилуйте,
в странноприимный дом
стучат сильнее сердца комья глины.
Безумие – слепое ремесло,
как тапки шить или стихи к кончине
писать,
где вечно сведены:
срамное любопытство боли,
застенчивая наглость горя
и площадной позор беды.

* * *

Мой отец – так ему всегда по-мужски хотелось – умер внезапно. В одной из поездок. Он провел рукой по сердцу и с некоторым даже смущением отвел взгляд от лекарств, запрыгавших в ладонях шахматного партнера. «Подождите. Хочу доиграть!» – успел он произнести. Днем он гулял у реки, решил написать о том, что, хотя и было крохотным эпизодом, а мешало целой его жизни. Потом ухаживал немного за женщинами, и обаяние не изменило ему. На столике остались шахматы, пачка сигарет и новая зажигалка, к которой он еще не привык.

Молодость моего отца – Григория Михайловича Скульского – прошла в Киеве, среди счастливого романтизма украинской речи. Первые стихи не были изданы, как это часто случается у прозаиков.

В 1941 году он ушел добровольцем на фронт, навсегда отдав стихи героям своих повестей, рассказов, романов.

С 1945 года он жил в Таллине. Здесь стал заслуженным писателем Эстонии, здесь создал лучшие книги.

Он писал о прошлом – городе карих каштанов – и о настоящем – где соединялись и разводились судьбы, где улочки тянулись к площадям «для глубокого вдоха».

Он был мудрым и очень мягким человеком, но главной в его прозе была война и потому, наверное, главным в нем самом было – мужество.

Впрочем, каким он был писателем и каким человеком, можно узнать из его книг. Последняя – «Тревога» – вышла через два месяца после его смерти, осенью 1987 года.

И все-таки есть вещи, о которых человек не может написать, пока он жив, и есть слова, которые нельзя произнести при жизни...

* * *

В 1937 году с горных Кремлевских высот пришло известие о гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вслед, парашютным десантом, приземлились списки убийц. Картавили по углам дантесовцы. Зазывали дворяне Арину Родионовну в дворницкие к себе на чай. Строились в шеренги, кто не успел отомстить за Пушкина под Перекопом. Гвоздикой распускалась на губах пена. Штормовыми брызгами упали на страну бакенбарды. Портрет был сравним с солнцем.

Темно было в зале, не шушукались. По проходу нараспев падали валторны, нарзан щекотал раструбы, барабанные палочки выбивали цирковой песок и бросали в глаза.

Стреноженный подагрой старик-профессор сматывал с шеи кашляющее кашне, и Черная речка выходила из узких берегов. Профессорово тело обретало балетную крылатую легкость и выпархивало вон. В поднебесье. А то в подвал – рассыпаться ветошью на нарах. Завхозы в ремнях орали на Милорадовича. Чесались голые сиденья в амфитеатрах, быстро пустело в пединституте. Тогда приехала совсем уже маленькая, в президиумного цвета косынке на краешке головы, назначена была главной по литературе, достала правдивую тетрадку, и узнали все, что залил-таки Николай кровью Россию в качестве звериной своей ненависти, велел повесить аж пять или шесть декабристов...

Сбылась в тишине коридоров всенародная слава поэта.

* * *

В 1937 году мой отец заканчивал предисловие к своей жизни. С украденным пистолетом у бельевого шкафа он пробовал самоубийство. (От той неутоленной страсти, что заталкивала дуло в

рот, в сторону затылка, от всех ее завитков, фруктовых грудей, шмелевых глаз, нанизанных на черные зрачки, осталось в семейных преданиях одно только, и без того красивое, имя Ася, да отказ, полученный по отцовской бедности.) Отец не выстрелил, хотя высоко задрал правую руку и левой отдернул на ней мешающий рукав. Он положил пистолет в кобуру, а кобуру под подушку – все это было собственностью постового, гулявшего в тот день с моей бабушкой в цивильной одежде.

Отец не выстрелил, и тяга к несчастью осталась ни с чем. Стихи на смерть поэта-себя терпели на подоконнике. «Строгач», полученный вчера на комсомольском собрании филологического факультета, таил лишь зависть сокурсников к стенгазетовскому дебюту. Люк не открывался. Ссылка проваливалась.

Отец решил зарыться в перегонной и там взрасти деревом истинной печали. Он выбежал за город, его гнали стыд и фарс. Он наткнулся на правдоподобный табор. Пушкинское, роковое, цыганское раздолье упрятало его. Он прибил к кибиткам, спал с цыганкой, а когда кончились деньги, сговорился выступить с табором в украинских местечках, праздновавших, как и вся страна, столетие бессмертия поэта.

Отец читал «Цыган», а затем те, разбросав детей и крепко припрятав выручку, выходили наглядной агитацией, оснащенной бубном и скрипками, дразнить первые, шарахающиеся ряды ценителей искусства, и только огибали редкие кожаные куртки с неподвижными серыми глазами.

Напрасно огибали, тем как раз нравились не пушкинские даже, а именно отцовы стихи про поручика Лермонтова, который по дороге в ссылку

...пил, но от того ль, что пил,
мерещился в узорах кружки
знакомый профиль... будто жил
израненный скуластый Пушкин.

Уж они-то знали, что не только жил – жив наверняка – в их подвалах, в свете их ламп никто не смел исчезнуть до срока...

А в это время студентка химмаша, мама, падала кудрями на черную шаль, и под изодранным шатром занавески – комсомольской декорации к политехническим «Цыганам» – кричала закругленному лезвию старинного ножа для разрезания бумаги, сжатому в руках сокурсника Ростика: «Умру любя».

Все они сошлись, а иначе и быть не могло, у Марка Чудновского. И отец, и Земфира. И пушкинского роста, но с лицом неподвижной японской плоскости поэт Сергей Спирт, появлявшийся из-за спины всегда красавицы – «Погоди! Я раскошелюсь, Ира, свистом бурь и грохотом ветров. Не страшись затейливого пира...».

Марк Чудновский добирался в одиночестве к настольному зеркалу, ровнял и переустроивал бритвой на лице пышные бакенбарды. Репродукции с портрета поэта и сделанные с них интимно дружеские фотокарточки глянцево искрились на столе. Порой оказывалось, что у Александра Сергеевича приподнята одна бровь, и это обязывало Марка к новой, бесконечной работе над собой.

Наследственная болезнь блуждала по телу Марка, омертвляла позвоночник, но лежащая праздность шла ему. Как шла ему и статная русоволосая Лена – верная Наталья Николаевна.

Уходил в память гибельный юбилейный пушкинский 1937 год. Приближался 1941-й, до которого Пушкин не дожил.

Братья и сестры великой поэзии взяли за руки.

Никто не знал, что самым страшным жанром двадцатого века станут хроники. В них сошлись те, кто записывал трагедию своей кровью, не расходуя чернил.

Пролитая кровь не сохраняет знания для живущих.

Торопясь, они перекидывали через забор сначала узелок с пожитками – воображение, – а потом и свои имена в мгновенную гибель. Безымянными входили в вечность, догадываясь, но уже не понимая.

Памятник великим, уравненным неизвестностью.

Сергей Спирт, числившийся в военкомате переводчиком, был призван сразу, 24 июня 41-го. Французский, которым он владел в совершенстве, не пригодился войне, и Сергей погиб в первом же бою рядовым пехотинцем.

Марк и Лена остались в Киеве, занятом немцами. Когда евреев погнали в Бабий Яр, Лена, русская, прорвала заградительную цепь полицаев и была расстреляна рядом с Марком.

В последних числах июня 41-го, перед отправкой на фронт, отец нашел возле дома, на краю воронки от снаряда, пятилетнюю соседскую девочку. Ноги ее в коричневых сандалетах лежали близко от платья, как кукольные протезы. Он принес ее в больницу, бормоча на ходу колыбельные слова и стараясь запахнуть под платье вытекающую кровь. Девочка поверила ему и стала ждать, когда вырастут ноги.

Она умерла и осталась лежать в черновом блокноте. Да и вправду, лучше бы ей отрастить ноги и сжать зубы, да и рваться, идти, ползти среди всех остальных людей с отнятыми смертями – к Победе.

* * *

Спустя тридцать лет, в 1967-м, отец, потому что остался живым, сел к письменному столу, чтобы начать нешуточное самоубийство тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

Он хотел этого, он ждал этого от себя. Но рука, спасая юность, вытаскивая по камням из волны, уже сама выводила:

«Мне всегда казалось, что русского Пушкина убили не у Черной речки в тысяча восемьсот тридцать седьмом, а на Сенатской площади двенадцатью годами раньше. В сорок первом он шел принять еврейскую смерть в Бабьем Яре. Может быть, в шестьдесят шестом его вешают как негра в Алабаме».

* * *

Стихи отец услышал впервые в пятнадцать лет от соседа, курившего на голый, с металлической сеткой кровати между двумя отсидками. К стене была привешена медицинская клизма, из отводной трубки капало красное вино. Сосед был вором с отбитыми почками, но помнил Овидия из курса классической гимназии.

Стихи подействовали на отца сильно, так, что, в конце концов, через годы, он оказался на филологическом факультете, пока же он все-таки не решился отречься от успешно сданных экзаменов в финансовый техникум.

Итак, финансовый техникум. Три зимы, до 1931-го, отец ходил туда долгим обходным путем, чтобы не видеть спуск к базару. На спуске сидели беженцы из деревень. Они разворачивали и выкладывали на дорогу, как запасливо прихваченные, отдельные от

тела вещи – вроде небывалого куска сала в чистой тряпице – первыми отмерзавшие ноги, а остальные, чувствующие части кутали пока в платки, сберегая для последней жалости, которой никто не знал.

В конце курса отца отправили сопровождать уполномоченного на ревизию в ближайшее село. Всклоченной птичьей ночью раздался выстрел. Отец хрустнул всем телом, как лист жести на ветру, и упал на стенку мазанки. Но стреляли не в него, в уполномоченного целились, того и убили.

Финансовым дипломом отец пользовался всего три месяца, столько продержался директором турбазы потомственный революционер, герой Гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени венгр Фекете, пригласивший отца к себе главным бухгалтером. На казенные деньги покупалась водка, и Фекете – в шляпе с наростами ласточкиных гнезд – глушил ею свое неумение отвыкнуть от шашки, пока быстро не сгинул в неведомом подзаборье...

От тех событий сохранились у отца стихи с торгашеским словечком «безмен» – безменом обвешивали на рынках ледащих беженцев, а когда те вымерли, то и своих горожан. Глаза от голода теряли зоркость, закрывались голубиной пленкой, а пружинка в подвесных весах растягивалась, удлиняясь от малейшего колебания. Да еще сохранилась долгая сосущая тоска:

Итак, подведены итоги:
Навек приведены к нулю
Труды, сомненья и тревоги,
И «ненавижу» и «люблю».

Итак... мне горестно и сиро
В жару великих перемен.
Моя поэзия, ты в мире
Лишь измеряющий безмен.

Безмен... Лицо исчезло в буре,
Где вечность переходит в срок...
Так значит, можно: как окурок
В рот – дуло...

Кончилась коллективизация.

Перед войной у отца был товарищ – поэт Сергей Спирт. Пряча лицо в широкогрудые астры, он шел на свидания к красавицам. Красавицы обмазывали рты малиновой краской для любования закатом. Они шли замуж за Сергея Спирта, как в комнату смеха, и бросали его на первом же полустанке среди кипятка, ведерных груш и смелых запахов бабьего лета. На приднепровском пляже оставались тонкие тщательные – японской туши – птичьи следы. Но стихи он читал не так, как птицы и поэты, а как умеет это делать крик в горах.

В 1939 году удача шла охапками, по-южному за бесценок, со щедростью безвкусицы. Отец заведовал отделом критики в крупнейшем литературном журнале. Сергей прикнопил над его начальственным столом листочек: «Здесь, с 12.00 до 16.00, ежедневно обедает Г. Скульский». Отец и вправду работал легко, между делом, никогда не погружаясь в себя настолько, чтобы нуждаться в оклипании.

Он и потом не садился, а присаживался к столу, более всего заботясь о неудобстве позы, будто только что и писал записку перед внезапным отъездом.

Он и потом боялся быть застигнутым врасплох, и мог прикрыть ладонью страницу, если заглядывали в комнату.

Так всегда у тех, кто жил за этажерками, занавесками, в общем дыхании, стучался об углы, пугаясь не ушиба, а тучной его, быстро распространяющейся шумности, жил там, где никогда не рыдают, а молча засыпают от горя.

Он и потом немного стыдился своего писательства.

Так по гипсовой мертвости дирижерского изыска всегда можно узнать на обеденной скатерти руки, поздно выучившиеся столовому серебру...

Невежда с аристократическим воспитанием, с красными предками, помянутыми на болотах Гражданской войны морошкой и клюквой, маленький выскочка с французским Шенье в ладошке, Сергей кричал колоколам Софийского собора: «Так муэдзин отзванивает мессу», – надругиваясь в одной строчке над двумя религиями одновременно на потеху всему литературному объединению, где тогда уже готовилось будущее московское процветание другого поэта, отмеченного Николаем Асеевым за стихи:

Быстро высадив рассаду,
Мы пошли по буряки.
Слесарь третьего разряда
Замечтался у реки.

...Статья известного критика Н заканчивалась словами, взятыми в кавычки: «Эта штука посильнее “Фауста” Гете!» Отец подчеркнул ее хрустящим, как морковка, морозным красным карандашом и подписал приговор на полях рукописи: «Какая чушь!» Он был более удачлив в свиданиях с красавицами, чем Сергей Спирт, и не стал дожидаться конца рабочего дня.

Главный редактор журнала взял рукопись со стола и, бормоча себе под нос какие-то дряблые, войлочные, уже лагерные слова о Великом вожде, сжег листочки и развеял пепел над очком в дальнем летнем сортире.

Туда же, к сортиру, он вызвал на следующий день отца и прошептал ему, подставляя вялый рот мухам в зеленых праздничных френчах, имя автора гениального высказывания.

На сей раз отец ушел от судьбы.

Человек бежит от судьбы, как крик от эха, и ему не страшна удача.

Сергей Спирт погиб в самом начале войны маленьким пехотинцем, и ни одна из красавиц не посвятила себя бесполезным поискам его могилы. Сергей погиб – и никто из живых не пришел ему на смену. Никто не заменил его в жизни моего отца. Это единственное, чем можно утешиться.

В годы юности у меня был товарищ – киевский поэт Леонид Киселев. Он погиб, когда ему было двадцать два года, и понадобилось еще почти двадцать лет, чтобы стали выходить сборники его стихов, и к его могиле – с фотографией мальчика в камне – стали стекаться молодые поэты со своими клятвами верности.

Когда в 1965 году вышел сборник «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», оказалось, что Сергей Спирт писал замечательные стихи.

Лёня Киселев рассматривал смерть в деталях и подробностях, позволенных лейкемией, в больничной палате и, как и обещал в своих стихах, «цветы простояли в графине еще три дня».

Лёня Киселев писал: «Поэты умирают в небесах». Поэты живут на земле. И когда им кажется, что они смотрят в глаза любимых, может быть, перед ними только стеклянные лица глициний. И когда им кажется, что их понимают, может быть, это только жарко дышит жимолость. Но когда они уходят, мы испытываем горе, горше которого не бывает.

Еще ничего не зная о гибели Сергея, еще ни разу не раненый, еще не дошедший до 1943-го, когда журналистам – евреям со слишком очевидными фамилиями предложено было взять русские псевдонимы, еще вспоминая запах домашних простынь, отец писал с фронта: *«Вернулся в землянку пошатываясь. Наша машина подорвалась на mine, и из шести человек ни один даже не ранен. От машины остался мотор и номер, а у людей легкие контузии. Счастье? Да, счастье. Но я уверен, что есть только счастье смелых, счастье верных, счастье любящих и нет счастья вообще».*

Стихи отца о поручике Лермонтове

Остановились в кабаке.
Ямщик – единственный попутчик.
Дымились горы вдалеке.
И тяжело вздохнул поручик.
– Что ж, выпьем! Водка горяча,
Быть может, затуманит память.
В бутылку втиснута свеча,
И как флажок трепещет пламя.

Он пил, но от того ль, что пил,
Мерещился в узорах кружки
Знакомый профиль... будто жил
Израненный скуластый Пушкин.

Не говорить, не горевать...
Ведь даже в мести мало смысла.
И не вернуть уж те слова,
Из-за которых он был выслан.
О нет! О них он не жалел:
Он вновь писал бы «Смерть поэта».
Свеча потухла. Мир темнел.
Он крикнул: «Эй, кабатчик, света!»

Стихи Сергея Спирта о дуэли Пушкина

Он с нами был. Он вечно будет наш.
Курчавый, страстный и суровый.
Накидка. В кулаке зажат лепаж;
Вокруг истоптаны сугробы.

И мне б, когда, согнув колени,
Он сразу выстрелить не смог,
Вскричать: «Остановись, мгновенье!» –
И самому спустить курок.

Стихи Леонида Киселева

Поэту невозможно умереть
В больнице или дома на постели.
И даже на Кавказе, на дуэли
Поэту невозможно умереть.

Поэту невозможно умереть
В концлагере, в тюремном гулком страхе,
И даже в липких судорогах плахи
Поэту невозможно умереть.

Поэты умирают в небесах.
Высокая их плоть не знает тленья.
Звездой падучей, огненным знаменьем
Поэты умирают в небесах.

Поэты умирают в небесах
И я шепчу разбитыми губами:
Не верьте слухам, жил в помойной яме,
А умер, как поэты, в небесах.

Стихи автора книги

А цветы простояли
В графине еще три дня.

Леонид Киселев

Смертельно белый снег.
Лоб, выгнутый, как лупа.
Локти отведя, как весла,
из постели рвутся сны.
Играют на чёт гвоздики,
широкогрудые астры.
Зудящие бока виолончелей
расчесывают в кровь смычки.

Пойдем, Сережа, на рынок,
где спешились стебли,
успеем купить гвоздики
и бросить в снег.
Целуют, уже целуют
рябины раздутые губы.
Хватают на ощупь ветки
и тянут идти вперед.
Лес высвеченной глазницей
зияет в конце дороги,
из глаз вырастают корни,
из рта вылетают птицы,
и пьяный валяется в поле
заспанный поводырь.

Приди и прижмись щекою
к щеке, растающей плющом,
с родством, как с бантом на шее,
тебя допустят к слезам.
Скорее к слезам, чем к решенью,
скорее к клятвам, чем к теме,
скорее к кляпу, чем к стенке.
Лишай заполняет стены,
И снег расползся по швам.

Ужо тебе! Пуст и снежен
Андреевский спуск.
Небо заполнила стая зверей
последняя. Чьи-то дети
лепят фигурки во сне, и
стебли растут из рук их.
Время бесцветно или
снег клеймит лилиями
ставшего на пути.

Киев внизу разверзся.
Хлопает ставнями сердце,
как кукушка в стенных часах.
Сядем, потупим взгляды,
в черных списках докладов
будем память читать.

И мы раздаем надежды:
вторым – на призрачность жизни,
третьим – на призрачность смерти,
но путаем то и дело
даты и имена.
Играют на чёт гвоздики,
широкогрудые астры,
и в кровь расчесали тело
виолончелей смычки.

* * *

По словам отца, страх стал появляться на фронте только к сорок четвертому, когда жизнь уже мешала доблести. Сердца кололись, как ворье на допросах, – случались инфаркты – предчувствия мира.

Собрание 1949 года шло тускло, как пуля на излете, но попадая в цель – единогласно. Казалось, еще можно уйти рывками в стороны: скажем, переставить мебель или выпить чаю.

Вечерами в наш дом приходили знакомые. (Кто-то – с интеллигентским прошлым – оставил на обеденном столе раскрытую сберкнижку на предъявителя.) Оглядывали комнаты, невзначай

останавливались на теплых вещах, а то и вовсе садились перебирать гречку. Краснофлотская газета назначила отца безродным космополитом.

Кузьмин, поклеванный оспой и еще носивший на лице просо, взявший когда-то с боями справку об окончании семилетки, вел в газете партийную жизнь.

Кузьмин не якшался с отцом, пока того долго подбрасывали вверх, не расступаясь.

Но когда настало собрание, когда все замолчали, и отец летел вниз медленным долгим кошмаром, именно Кузьмин – а кто же еще – ненужный, посторонний человек, вдруг заорал своим настоящим, с гармоникой вдалеке, подоконным голосом:

– Да, я против, – отвечал он в недоумении. – Против я. – И заплакал.

Пришла машина. Посторонились стулья. Жена рванулась за Кузьминым, но была обстругана в три дня промелькнувшим тифом.

Кузьмин вернулся через пять лет и умер дома, привалившись к забору и не чувствуя голода.

Пострашнее татарского ига
«Наш осенний задумчивый сад».
На деревьях теперь, как вериги,
Мертвецы дорогие висят.

Так писал отец в сорок втором году моей маме с фронта. И вериги были разными, выкатывались на брошенные платформы – то рубахой с блошиной чесоткой под наглухо застегнутым платьем, то вьющимися железками, поддевавшими кровь, то обручами, чтобы рана не могла зажить.

...так неужто... неужто с тобой
То же самое произошло?
Так неужто любимую смяли,
Испохабили в пьяном бреду.
Или ты среди тех, что качаются
На деревьях в старом саду.

Любимая, успокой.

Корреспондент партийной газеты заслонял лицо фотоаппаратом, но это подобие противогаса не скрывало его замешательства, снимок он сделать не решался. Лилли Промет стояла у своего прозрачного, со стеклянными стенами дома, стояла, взяв под руку тоненькое дерево; на ней была венценосная шляпка, и поля бросали серебристую тень на лоб без признаков горестных морщин.

Фотограф приседал и заходил сбоку.

– Никак, – сказал он наконец, – не могу. Вы красивы, элегантны, все что угодно, но статья-то о ленинградской блокаде, как вы там работали, как голодали...

– Ничего, – успокоила Лилли, – если моя элегантность вынесла ленинградскую блокаду, пусть спустя сорок лет ее как-нибудь стерпит партийная пресса.

Эта женщина, чьи стихи не боятся хранить в запахах цветов философскую глубину и чья акварельная проза не страшится резкости откровений, сказала мне однажды:

– Ваш отец один из немногих еще в те годы начавших писать литераторов, кто может не стыдиться подшивок старых газет.

Я никогда не листала их, да и отец не хранил вырезок.

Но вот в газете «Sirp ja Vasar» (18. 11. 1988) я прочла у Акселя Тамма – литературоведа, критика, издателя, десятки раз рисковавшего своим положением во имя правды и таланта в искусстве, – об одном собрании Союза писателей Эстонии.

Шел 1958 год. Москва, разгромив Пастернака, спустила указание добивать поэта на местах. И хотя в Эстонии тогда еще мало кто знал его творчество, регламент был соблюден. «И только Григорий Скульский, – пишет Аксель Тамм, – встал на том судилище и начал просто читать наизусть высокие стихи Пастернака».

Очевидно, в книге любви, памяти и преклонения мне следовало бы опираться на такие только свидетельства, чтобы вызвать ответное чувство читателя.

Но отец одергивает меня. Он не рассказывал мне о подобных эпизодах и не вспоминал о них.

В жизни ему не раз доводилось быть обвиняемым, но потребности обвинять – не возникло.

Наверное, его одиночество было тем тяжче и потому, что он никогда не испытывал освобождающего счастья покаяния в голос.

* * *

Дорогая моя, мы с тобой не видались в июле,
Август тоже ушел, оставляя дымящийся след.
Над приволжскою степью летают смертельные пули...

*Отец – маме в письме с фронта.
1942 год*

Ага, ты слышишь, голуби впотьмах
так отбивают такт:

почтовых тройка

готова в путь.

И если подавать

прошение на жизнь,

то только ныне.

Пока морщит, как на живую нитку,

иней.

И клюв выстукивает грудь.

Как жмет в плечах –
земля еще обнова.

И ей к лицу румянец снегирей.

Пернатые приварки жгут метель
и яблоками тычутся в сугробы.

Исклеван плёс –

прямой, как санный полоз.

Побег готов.

И колос подает,

вторым, спеша, запахивает

полость

ковыль, одетый в гололед.

Над колченогой степью

пар в седле,

дрожит в объятых молодая пуля.

И письма о любви – как снег в июле –
приносит мертвым
 почта в декабре.

Трава во льду,
 что рыба под стеклом.
Да сквозь ветвистую ограду поднебесья
театр земных правдоподобных действий
смакует ворон
 царственным зрачком.

Прости мне жизнь,
 как я тебе ее,
 прощая, лгу.

В запальчивости ужас
(нет, погоди, пожалуйста, дослушай!)
вдруг переходит
 в удаль
 на скаку.

* * *

И, может быть, внуки
Тогда посмеются над нами.
 Отец, март 1945 года

А плохих людей на войне не было вовсе. Завтра же в бою получишь утреннюю, с ветерком, случайную пулю в затылок – кому охота?

Первый орден отец получил за Сталинград. У отца поднялась температура. Он плавал в скользком мучном жару у замерзшей Волги. До сих пор отец ценил каждую минуту, как это делает человек, падающий с крыши. Не для того, чтобы прорасти травой, а чтобы разбиться. Теперь был роздых и итог.

Отца внесли в дом, где лежала женщина-лейтенант на обмороженном пулемете. Она задвигалась, оживая, и повернулась к отцу. Сквозь валежник прядей, из-под челки, выкарабкался коричневый глаз, огромный, как медвежонок. Она снова, всей своей насадной красотой легла на пулемет. На гимнастерке, на плече у нее была затканная шелком крови роза. Женщина заговорила,

и не цыганская даже – короткая, на длину кинжала – тяга была в ее голосе, но страсть – насыщающая, исчерпывающая – о которой стонет ночами зверь.

– Страшно было? – спросил отец.

– Страшно будет, если война кончится, – ответила ему.

Отец вышел из дома. Ему показалось, что жар и мороз – одно. Но снег остужал, и запотевшие глаза уже различали пленных с подарочными крестами платков на груди. Падали на каменный, телогреечный бок сугроба, вставали в колонну, и никто не видел их так много – до горизонта шли в Волгу, марали ее синь и стать. Колонна разваливалась мякишем и собиралась коркой конвоя, и троих наших хватало на их сотни, расчерченные линиями обмоток.

Отец хотел вернуться к женщине в дом, доказать, что арифметическая эта радость достаточна... Но к пленным уже подходили и давали хлеб – кто почти равнодушно, как рыбам в парковом пруду, кто с той брезгливой, сильной жалостью, с какой подбирают, несут в домашнее тепло животных. (До Берлина далеко было, до распахнутой квартиры на центральной его улице, с семьей, заколотой штыками, на полу и надписью углем на обоях: «Здесь навел порядок сержант такой-то».)

И только через несколько дней, в грузовике, где набиралась и версталась дивизионная газета, где привыкли спать на ходу и под бомбежками (потому что нельзя останавливаться, когда самолет летит навстречу), только через несколько дней отец узнал то, что всем было известно, что если пленных... если разгрести и растормошить эту грудку гнилого тряпья, то там, с живучестью крыс, прячутся часы и зажигалки, и еще обручальные кольца на левых, лютеранских, а по-нашему – вдовых руках. И за пайку хлеба отдает немец и часы и зажигалку, лишь обручальное кольцо, осевшее глубоко в мясо, не идет в ход. И тогда они, журналисты, с орденами на свежепродырявленных гимнастерках, поклялись друг другу за спиртом никогда не пустить в свои души извечный маркитанский инстинкт войны.

Памятливый озноб отпустил отца. Рядом с орденом появилась медаль, и награды могли стать еще одной фронтовой привычкой. Отец спал глубоко, пока не проснулся как-то ночью от непривычного зуда в почесывающейся тишине. Зуд нарастал. Забивался мошкой в уши. И вдруг явственно в нем различалось забытое с барчуковского детства «тик-так». Отец приподнялся.

Вокруг тикало. Тикало страшно, тяжело, уже в мозгу. Тикали, шевелились вещмешки, набитые хронометрами и часами-штампками – недосыгаемой предвоенной мечтой...

... У отца есть рассказ «Тик-так». Там в смертельном бою спасает жизнь комбату окруженец, взятый в батальон смуть кровью прошлый позор. А после боя находит комбат тот самый тикающий вещмешок – и зажигалки, и обручальные кольца – и посылает окруженца на расстрел. И вот еще что происходит с комбатом ночью, в конце рассказа: *«И хотя это было вовсе нелепо и глупо, вдруг сорвал он с руки свои старенькие, школьных времен часики и швырнул их в реку... И почему-то после этого у него стало легче на душе».*

Зачем написал отец эту фразу про школьные часики? Каким внукам он оставлял ниточку?

До войны делали у нас в стране часы карманные, большие, к ним припаивались дужки для ремешка. И дорогие, редкие эти механизмы шли на премирование видных работников через райкомы и горкомы партии. И никаких дешевых, школьных часиков не существовало вовсе. Да и что бы, что бы стали делать внуки с этой правдой о часиках? Если бы и докопались до нее?

... В семейном альбоме сохранился у нас покоричневевший дагерротип начала 1917 года. С отцом, пятилетним, на деревянном, с тщательным торжеством сработанным троне, в бобровой шапке, с державным скипетром из медных обрезков в руке, и второй, выпотрошенной из шубы, рукой на холке пони; с бабкой отца, огромной и разбросанной, как заросший чертополохом сад, еще в мощи, едущей на прием к генерал-губернатору, выстраивающей свои груди в одну шеренгу без просвета и пихавшей для того в вырез платья целое состояние...

* * *

Его мать была человеком без барабанных перепонки. Этот природный изъян не был доведен до циркового уродства. Но всю жизнь отца когтил ужас перед пантомимой и театром теней.

Впрочем, она славно артикулировала и умела пользоваться голосовыми связками. Во время свадебного путешествия она побывала в миланской опере и покачалась в венецианской гондоле. Сопровождал ее красавец-бедный-студент, приобретенный на мукомольные деньги моего прадеда.

Мой отец родился в Миргороде, городе теплой волнистой пыли, утыканной перезрелыми вишнями. На прадедовской мельнице работала поредевшая артель отцовских дядьев – недостающие дядья откликнулись на революционный призыв 1905 года и пытались водрузить красный флаг среди отчей муки. С белыми лицами их свезли в Сибирь, и вернулись они только к 1917-му с крепко вбитыми в головы идеями абсолютизма.

Красавец-бедный-студент стал врачом и радостно встретил революционное освобождение от богатства жены.

Отец видел его еще несколько раз, но плохо запомнил в пустоте равнодушия.

Впрочем, за моей бабкой, уже в Киеве, уже перед самой войной, смачно ухаживал постовой милиционер с центральной площади. Отец уверял, что в молодости его мать слыла красавицей, о чем не в силах была поведать ни одна из сохранившихся фотографий.

В десять лет отец связался с беспризорниками, с двенадцати кормил глухую мать. Наверно, в этой глуши рождалось его одиночество, его романтически преданная жалость и та странная храбрость, которая встречается у людей долга.

Уже в глубокой старости его мать – чтобы не понять по губам ответа или не столкнуться с сыновним взглядом – любила повернуться к отцу спиной и выкрикивать проклятья, немного захлебываясь в гласных.

* * *

В 1949 году умерла другая моя бабка – мамина мама. Еще в Первую мировую объявив войну Богу, она жарила лепешки из мацы на свином сале. Хотя страшное ее иудейское кощунство плохо понимали свидетели-соседи, сначала украинцы, а потом русские и эстонцы. Мацу выдавала к пасхе еврейская община, она же оснастила бабку местом на своем кладбище.

Через девять месяцев я родилась в деревянном барачном доме, построенном пленными немцами с аккуратной, как штопка, тоской по фатерлянду.

Дом стоял среди кустов с никогда не созревающим крыжовником. Внизу, в прачечной, где высоко умели подпрыгивать крысы, в бетонное корыто стекала вода и по стенам жались вол-

дыри слизи. Оттуда выползали веревки с обмякшим бельем и прохлаждались между деревьями.

С чердака уводила милиция налетчиков, ограбивших продуктовый ларек. В ларьке ничего не оказалось, кроме ящиков с куриными яйцами, и грабители сдались через неделю, ослепнув от гнойного осинового диатеза.

Их матери были для вида, сплевывая махорочные слова в лестничный пролет. Только одна была ласковой и услышала шепот сына:

– Всего-то я, маманя, попробовал, все испытал, теперь жизнь посмотреть надо – в тюрьму хочу.

Отец мой служил в это время безродным космополитом при Таллиннском Доме офицеров, в крошечной должности, без права публиковаться. Он носил капитанские погоны, но еще не думал о войне для прозы, казалось, нужен был толчок какой-то новой острой беды, потому что к бедности он вернулся легко, как возвращаются к вредной, но отчасти даже и приятной привычке.

Впрочем, и той, начальной, полустаночной, а не необъятными просторами отделившей отца от жизни, степени отчаяния хватило, чтобы он внимательно выслушал человека, покалывающего воздух дальневосточным кортиком в том же Доме офицеров, и сделавшего простое, как безупречная анкета, которой он обладал, предложение написать в соавторстве роман. Тут был поворот, деталь одна, все в конце концов и решившая: отцу предлагалось сначала – всплыть анонимно, за радость труда и гонорара; отстояв условие равноправного имени на обложке, отец протянул руку соавтору, и потом всю жизнь считал для себя постыдным прятать ее при встрече за спину.

Через два года роман вышел в журнале «Октябрь», отдельным изданием, в «Роман-газете», общий тираж составил миллион экземпляров; он был экранизирован и включен в обязательную программу всех военных училищ.

Пока же мама неожиданно выиграла деньги по облигации, и отец с соавтором смогли поехать писать в Москву, к моей тетке.

Тетка была ярка, как стоваттовая лампочка без абажура. Фальшивые сапфиры, жемчуга и бриллианты так шли ей, что наводили на грустные мысли о бешеной и смертельной шулерской удаче. Тетка была болтлива, и во всю ее жизнь никто так и

не сумел отнестись к ней всерьез; ни понуро ревновавший муж-архитектор, ни сын, сугубый математик, ни дальнейшие внуки, загромоздившие квартиру роялями и скрипками.

– Люба, – говорил ей отец, – мы садимся работать. Считай: если ты будешь молчать целый час, мы сводим тебя в пивную. Если выдержишь два – пойдем в кафе. Ну, а уж если четыре, – пауза была долгой, и Люба успевала беспокойно сглотнуть, – поедем вечером в шикарный ресторан.

Люба быстро обматывала грудь и живот теплым платком, накидывала пальтишко и выбегала в ледяной пустынный парк, стучаясь ботами о деревья. Вытерпеть четыре часа она, конечно, не могла, но и о том, как она заговаривала с кустами, никто не должен был догадаться.

Роман был написан мгновенно. Стремительно было создано продолжение, прогремевшее по той же колее успеха. И разом все кончилось, как тур вальса. Отец стал прозаиком... Отказался от выдвижения на Сталинскую премию...

Отец стал прозаиком, навсегда почувствовав, что удача имеет такое же малое отношение к творчеству, как и беда.

Его соавтор заперся в квартире с декоративными, блестящими, как перламутровые пуговицы, рыбками; больше тридцати лет он промолчал среди потрескивающих трубок дневного света и рябой от кислорода воды, затем вдруг написал и издал роман, тепло встреченный прессой.

Люба умерла совсем недавно. Уже в крематории, в последнюю минуту, по какому-то наитию, в гроб высыпали все ее сапфиры, кольца и золотые цепи.

Но странно, стекляшки уже не смогли отразить ни ее пыл, ни ее маленькие страсти.

* * *

...Женщины открывали двери локтями – несли на руках пи-роги.

Китель спадал с плеча, как гусарский ментик, как бурка – вдруг горячая кровь, – как вся жизнь была внакидку, легко, по веревочной лестнице в спальню.

Спирт чудил.

Лоб был обмотан песней.

Победа была разлита по граненым стаканам и многие были пусты.

И песня была, и крепдешин прижимался грудью, и шурился глаз от махорочного, сочного да хриплого дыма.

А еще... он помнил одну деревушку поздним августом. Помнил, как въехали, как вывели им прямо на дорогу четырех босых полицаев. Как повесили тех деревенские сразу – с грузовика – на сучьях.

Жирели на сучьях полицаи.

И пошли, сразу же пошли женщины, расправляясь под деревьями, девушки в лежалых белых платьях.

Гармонист безногий сидел в теплой черноземной ямке от шины.

Пошатывало на сучьях полицаев, клонило в сон.

Сладкие пыльные листья прилипали к женским рукам.

Наливались соком, наливались сладким перезрелым запахом трупы на деревьях.

Засохшая глина женских тел отзывалась мякотью и тифозным жаром.

У полицаев оттопыривались карманы на пиджаках, языки не помещались больше во рту. Свесились глаза.

Солнце прощупывало крепкие суставы веток.

И так плясали, так счастливо бились-плескались под серыми гроздьями девичьи косынки, что никогда уже отец не смог об этом написать.

* * *

Отец уничтожил почти весь свой архив.

Мама сберегла фронтовые письма.

В одном из них, между штампами «Выше черты не писать» и «Ниже черты не писать», над штампом «Просмотрено военной цензурой», справа от бойца со штыком и другого бойца с гранатой, занесенной над немецким танком, справа от «За наши нивы и луга – убей захватчика врага!» я прочитала:

«... А помнишь, ты узнала, что целоваться можно даже в такси... так хочется тебя увидеть, что, кажется, не хватит дыхания. Я вспоминаю старые свои стихи, им, чтобы стать правдой, понадобилось восемь месяцев войны:

*Я бы был только тем,
без чего и тебя не бывает.
Стану дымом твоим,
если ты загорись огнем.
Стану плитами улиц –
спокойно по ним зашагаешь.
Если станешь загадкой –
единственным буду ключом».*

* * *

*И даже тем, кто пал вчера убитым,
Придут сегодня письма о любви.*

*Отец – маме в письме с фронта,
1941 год*

... Тогда обе мои бабки тесно легли на пол. На лицах их годами отбивали такт голуби, и главные морщины были теперь хорошо видны под лампочкой в жилой конуре.

Доски, обтесанные водой, перекрывали здесь ссохшуюся ванну. На них и спала мамина семья из трех взрослых человек, и еще в корыте – маленькая Зоя.

Бабки лежали долго, как в смертном рву. Были они живы и упрямы, но без объема, как показано на рисунках египетских пирамид, а потом – на трофейных хрониках, где привалились к стенкам земли трупы концлагерей.

Тогда моя мама выползла. Фрунзенский базар задышался от сговора с поздним летом 1945 года. Ерзали под осами венозные туши баранов. В пыльное, бирюзового цвета небо тускло смотрели непомерные дыни – снаряды гаубиц.

Сытый базар, и простыни были в цене, они шли на белые киргизские чалмы. Мать меняла простыню на дыню.

...Возвращались фронтовики с роялями или сервизами, спохватившись наживать добро...

Тогда мой отец выменял на спирт семь метров марли, занавесил ею окна своего пока еще фронтового кабинета, выправил маме вызов и стал дожидаться свидания в финском городе Порккала-Удде.

Вызов был действителен месяц. Бабки лежали, загородив мамин отъезд. Они считали дни и теребили надежду на мамино

оставание с ними, а не за границей, откуда, им казалось, не бывает возврата.

Гнили абрикосы, становясь похожими на влажные конские глаза, ничего дешевле не было для беженцев в голодном Фрунзе.

Срок вызова кончился, и тогда мама поехала, зная, что добраться теперь невозможно.

Непомерную дыню катали из конца в конец вагона под сквозными полками солдаты, обманывая зоркость пограничного карантина. Сама мать была укрыта с головой одеялом и для верности придавлена попутными чемоданами и детьми.

Она была рыжей, в единственном платье, с дыней в пустом чемодане, и во время воровской пересадки достала еще отцу в подарок две бутылки водки. Потом, до самой конечной станции, даже в Хельсинки, уже не смотрела в окна...

Спустя сорок два года, в белорусском лесном Ракове, она все еще прижималась к отцу, все еще силилась греться его догоравшим теплом. И он отдавал тепло, как отдают его до конца камни.

Она вывезла его домой той же воскресной белорусской ночью, поломав бумаги и законы.

Она везла его всю ночь за тысячу километров, не понимая дороги, невесть как и где раздобыв машину, и два шофера вызвались ее сопровождать.

Простыня сползала с головы отца, открывала лицо, и мать ловила себя на мысли, что ему неудобно лежать.

Шоферы наотрез отказались от денег. А заплакать она смогла только через две недели.

* * *

– Суглинок сероглазый, –
дождь цветет.
(У нас дожди,
в цене упали астры.)
И ни одна прибрежная сосна
не просится и не годится в мачты.

На море штиль. На водорослях синь.
Вбивают лодки в воду клинья.
И разве нет? – теперь уже вся жизнь
Потрачена на чувство к Розалинде.

Ногтями расцарапана душа,
под ними – прах,
как канты на гвоздиках.
Не сожалей о временах великих –
холмы в венках, и статуи в венцах.

Есть урожайность на святой манер:
под дерном созревают шампиньоны,
свеча затеплена под деревом,
влюбленным
в свою кору, в соски рябины кровной,
укушенные
лающим дождем.

.....

Так вздернут флаг или рука в кольце,
и грудь в крестах и голова в чехле,
и тело провисает, как тропа
над пропастью, вцепившись в рукава.

Лес и грибник командуют подъем,
Под ними холм или, точнее, челн,
или, еще точней, дверной проем,
где волчью яму заслоняет дерн.

.....

Не уставай, на свет надежды нет,
Харон всё взяточник, но Лета обмелела.
Плывешь туда, где вовсе нет предела
желанного.
– А только берег?
– Нет.

* * *

Всегда отец мечтал написать рассказ о волшебном кольце.
Вмгновенном переходе от барчуковского детства к беспризори-
ничеству, в 1919-м, в Миргороде, занятом бандами, отец вздумал
пропеть Марсельезу прямо в пенистые морды казачьих лошадей;

был порот нагайкой, подобран красным комиссаром, и тогда-то, на прелой соломе в сарае, где нежный щекочущий запах детской крови мешался с тяжелым духом непроветренных комиссаровых ран, впервые мелькнуло перед отцом волшебное кольцо, потому что теперь предстояло отцу надеяться только на воздух, только на его бесконечные пустые пространства, держаться за него всю оставшуюся жизнь.

Помню и я о волшебном кольце со времен своего детства, когда, дождавшись зимы, распахивала окно и пила простуду, смешав комнатный кипяченый воздух в липких полосках бумаги по краешкам рам со снегом, когда падала на сухую колкую подушку, резиново открывала рот над малиновым отваром, тускло смотрела на венчик огня, обрамлявший растрепанный ворох щеп в печке, и мелькали, плавились, как свеча, вечные коричневые лунки на указательном и среднем пальцах отца; и непомерность, страх и тоска жизни отступали.

Отец не написал рассказ о волшебном кольце. И я не напишу, постараюсь не сделать этого.

Как легко все начиналось для меня: Киев, опрокинутый в Днепр, Крещатик, как точка пересечения параллельных линий, войлочная лечебница, ведущая к Кирилловской церкви, расписанной Врубелем – задыхается и поет обморочное безумие фресок; мне пятнадцать лет, и мороженого хочется больше, чем увидеть Софийский собор.

Первая встреча с Лёней Киселевым – киевским девятнадцатилетним поэтом, который через три года, перед смертью, подарит мне свою фотографию с надписью: «Мы еще обязательно увидимся».

Лёня Киселев напишет мне перед смертью: «... Я совсем не усмехаюсь, когда ты говоришь о своем отчаянии и безнадежности, тем более, если они существуют действительно, а не просто для украшения эпистолярного стиля. И все-таки это проходит, а если эти чувства удастся передать, скажем, в стихах – результаты бывают просто удивительными. А кроме того, постараемся не отчаиваться, а при встрече расскажем друг другу о нашем старании. Ну, а если тебе станет совсем немого – позвони мне, сядь на самолет Таллин – Киев и я постараюсь спасти тебя от всех бед. Пусть эта возможность будет твоей

заветной лампой Алладина, последним шансом. Может быть, тебе будет легче...»

Лёне было двадцать два года.

Мы думаем, что можем догнать мудрость мертвых своим опытом, мы стараемся их забыть своими делами, суетой, горестями и волнением, но вдруг, как озарение, наступает нас какая-нибудь брошенная ими вскользь и до времени забытая фраза, и мы понимаем, сколь многому могут еще научить они нас, сегодняшних. И опять мы берем рубежи и барьеры и, кажется, что-то начинаем понимать, но вновь их улыбка, их совет, их урок оказывается сутью наших достижений.

Не всякая безнадежность ищет утешения, не всякая тайна жаждет огласки, не всякое отчаяние переходит в крик и жестокость. Великий демократизм поэта открывается в дни его гибели – не в том бытовом христианстве с его скукой добра и безразличием всепрощения, но в масштабе мысли и чувства, способных до последней минуты обнимать собой жизнь, не цепляясь за нее. Мы говорили о жизни, которой, казалось, Лёне уже нечего сказать, ибо она утекала меж пальцев, но от этого она не становилась для него ни преувеличенной, ни чрезмерной, он видел ее во всем объеме и правильной иерархии, и любил ее без скорби и надежды.

... Нужно помнить о смерти, и тогда все будет в порядке. Нужно помнить, что пока мы живем, мы живем вечно. И еще – мы не вправе делать из наших мертвых персонажей. Иначе мы сами превратимся в марионеток, время от времени осваивающих человеческий жест.

Когда отец привез меня впервые в Киев – город своей юности, когда восьмикрылая лодка памяти закружилась над нами, когда огромные собаки ластились к ногам, когда деревья прорастали сквозь стены и пахли абрикосовым вареньем, отец уже знал, что все повторится не так, как задумывалось ему, знал, что волшебное кольцо, исполняя любое желание, попутно, как бы между прочим, отнимает то единственное, без чего невозможно жить.

Ахейцы близко или
деревянный конь
в эпоху бронзы столь необычаен?
.....

Над мертвым городом
Владимирский собор,
опершийся на планы готовален.

Прах мой, мой чернокрылый, край земли,
товарищ мой – на вечную свободу!
.....

Над восьмикрылой лодкой
журавли
летят, как тень,
расплескивая воду.

Чума подскажет замыслы богам.
Цветут – как спиртом залитые бельма –
твои каштаны. Выпуклое зренье
из зелени выводят по слогам.

Скажи два слова. Дерево в крови
у нас с тобой. Прибило к сердцу щепы.-
Скрой ладью, вода уходит в Днепр,
а днище украшают соловьи.

Бессмертье порвано на – утром: рот,
на ночью: ров, на – было и –
не будет.

Товарищ мой, в земле страшна простуда,-
вот шарф мой, ты возьми, потом вернешь.

Елена Скульская – поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор четырнадцати книг стихов и прозы, вышедших как в Эстонии, так и в России. Среди них – «Стихи на смерть фикуса» (1996), «Ева на шесте» (2005), «Любовь» и другие рассказы о любви» (2008). Лауреат ряда престижных литературных премий. Живет в Таллине.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Памяти И. А. Рапопорта

1

«Ориентир – сосна
со сломанной верхушкой»,
а значит не до сна, –
и на передовой
убитый капитан
с единственную пушкой
и с верою в груди
ведет неравный бой.

Во сне идет война
и гул ее несносен,
и кровь во сне красна –
красней, чем на миру.
Ориентир – сосна,
нет, не сосна, а сосен
вечнозеленый гул
в Серебряном бору.

Бой отгремел. Затих.
Покой нам только снится.
И снова капитан
командует во сне.
Хор ангелов поет.
Пшеница колосится.
Как если бы в раю,
а может быть во мне.

2

Еще вчера дрожал земной
под сапогами шар,
но вдруг стал болью головной
обрубленный кошмар.

Их увезли – не стало их,
как вторчермет и хлам,
однажды прямо из пивных
на *остров Валаам*.

Исчезли раз и навсегда.
Как если бы душа –
пятиконечная звезда
над озером взошла.

3

Я сердце на замок запру;
и голову склоня,
прикуриваю на ветру
от Вечного огня.

Нет слез – все высохли давно
и стали солью аж.
Документального кино
убитый персонаж.

* * *

Поговорим без посторонних –
не в счет полночная звезда;
холодный свет одной из Бронных
мы не забудем никогда.

Нам выпали сплошные решки
и улетели все орлы.
Сидим у двух сестер в кафешке,
где перевернуты столы.

Твоя печаль, моя тревога,
ученики не первый класс.
Ах, сестры, не судите строго,
не выпроваживайте нас.

Сварите нам покрепче кофе,
налейте коньяку по сто,
чтоб о грядущей катастрофе
уже не вспоминал никто.

А мы вам сбцаем вприсядку
и на два голоса споем.
И неразменную десятку
без сожаления пропьем.

* * *

Мы не мечтали о таком
ни в первом классе, ни в десятом:
обнимемся под потолком,
расстанемся под снегопадом.

Кружи над школой летний снег,
и не мешай ночному бдению,
где поседевший человек
танцует с собственной тенью.

* * *

Быстротечность увяданья,
умирание травы.
Притупляются с годами
ощущения, увы.

Так я думал по дороге
из больницы, где моя
мама умирала от лейкемии
а по левую руку чуть ли не до небес
простирался выгоревший

*луг и глядя на него
и вдыхая сладкий запах
я понял как это ни банально
что жизнь прекрасна
потому что справедлива
и прекраснее ее только
смерть, которой нету вовсе,
смерть – синоним слова «вновь».
Только память. Только осень.
И любовь.*

* * *

Сердце камнем скользит по воде,
гладким камнем, сбиваясь со счета,
не готовое к новой беде –
той, что не заржавеет у чёрта.

Тишина...темнота... ни души...
Как на сцене, но после спектакля.
Лишь о чем-то поют камыши
и о чем-то безмолвствует цапля.

Год за годом лежало на дне, –
утром плакало, вечером пело.
А потом возвратилось ко мне
и уже никого не жалело.

Прага-Вена

1

Настоящие чехи и чешки
и опять виртуальные мы;
переждем этот ливень в кафешке
и останемся в ней до зимы.

Будет ветер над старою Прагой
и вертеть и крутить флюгера
и бездомное сердце дворнягой
в тесной клетке скулить до утра.

Мы «У Швейка», как будто на Бронной,
разливным догоняясь «козлом»,
за процессией похоронной
наблюдая, взгрустнем о былом.

Были? Не были? Быль или небыль?
Замерзает сухая вода.
Левантийским безоблачным небом
мы упьемся с тобой навсегда.

Ночью хлопотной, ночью холодной
протрезвеем и станем, как все,
на прощанье, обнявшись на взлетной,
не размеченной полосе.

2

Растрянжирил – бездельник и мот,
разбазарил – какая досада,
райских яблок сентябрьский мед
и прелюдию листопада.

Ничего не оставил себе,
кроме скучной тщеты на бумаге, –
остается в больном декабре
вспоминать о сентябрьской Праге.

Вспоминать и шептать, как в бреду,
европейскую метеосводку,
и литовскую на меду
ананасом закусывать водку.

А на улице + 27.
Новогодняя елка нелепа.
Смотришь на небо – чем не Эдем? –
и билет покупаешь на небо.

Вероятность того, что умру,
вызывает усмешку.
Я стою на осеннем ветру
и люблюсь на чешку.

И она улыбается мне:
и светло, и беспечно.
Вероятность бессмертья вполне
очевидна, конечно.

А на Вацлавской площади, вдруг
посреди листопада,
в сотый раз попаду в третий круг
вожделенного ада.

Бесконечная вечная жизнь.
Пролетело две трети!
И стоит, на *копье опершись*,
грустный ангел бессмертья.

Квадратное дерево

Квадратному дереву грустно:
ни влево, ни вправо, ни вверх, –
сегодня во имя искусства
унизил его человек.

Квадратное дерево или
квадратное пугало, и
его шевелюру остригли, –
всё лучшее отсекли.

Подрезали ветки, как руки,
и коротки стали они.
Смеются друзья и подруги,
и даже замшелые пни.

Квадратность сначала смущала,
стращала приходом конца,
а вскоре отечеством стала
для крохотного птенца.

* * *

Здесь всё другое: я другой,
и воздух, и язык,
и треск улиток под ногой
напоминает крик.

Я променял на ближний Ost
вдруг ставший дальним West.
Но неизменна сумма звезд
от перемены мест.

Феликс Чечик родился в Пинске, окончил Литературный институт имени Горького, стажировался в институте славистики Кельнского университета, автор поэтических книг «Мерцающий звук», «Прозаизмы», «Муравейник» и «Алтын», член Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в городе Натания (Израиль).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

С чего начать? Начало и конец, как известно, слова одного корня, так что это будет одновременно и рассказ о конце. Мой отъезд совершился без особых трудов: выездная виза представляла собой приказ покинуть страну в кратчайший срок. Билет на самолёт в один конец, шестьдесят долларов в зубы, и катись. Мне дали понять, что если я тотчас же не уберусь, то пускай пеняю на самого себя.

Это было милостивое решение. Да я и не возражал – я больше не мог там жить. Мы дышали азотом. Я говорю: «там», словно это была чужая страна, но она в самом деле стала чужой. В аэропорту, в особом закутке меня заставили раздеться донага. Что они искали? Я был гол как сокол и в прямом, и в переносном смысле. Мой багаж составляли потрёпанный чемодан и портфель. Туда было свалено моё прошлое, точнее тот скудный остаток прошлого, который разрешалось увезти: две-три книжки, несколько рубашек, бельё, наспех собранное моей женой. Не возбранялось захватить с собой ночной горшок и домашний халат; ни того, ни другого у меня не было. Что касается нематериального имущества, о котором гордо возвестил один старый эмигрант: «Я унёс с собой Россию!», – тут можно было только пожать плечами. Я мечтал стряхнуть с себя Россию. Когда я показался в последний раз, жена моя – теперь уже бывшая, своевременно подавшая на развод, – стояла за чертой, разделявшей два мира. Мне показалось, что она плачет. Мой сын на проводах не явился.

Ценци встретила меня в Вене. Собственно, её звали Кресценция Аделаида, фамилию называть не буду. В те времена моё имя было известно в определённых кругах; мы познакомились в доме, где собирались эти круги. Что побудило меня принять участие в подпольном журнале? Так вступают в тайную секту или банду взломщиков квартир. Взламывать кое-что пытались и мы.

Здесь занимались разоблачением режима – весьма обширное поле деятельности в государстве, где под замком находилось всё, начиная с самого государства. Не могу сказать, чтобы я вполне разделял героический энтузиазм моих товарищей; моё тогдашнее настроение было довольно смутным; я понимал, что вязался в опасную игру. Но игра манила к себе, в ней было нечто от озорства подростков, лихо сплёвывающих, подрисовывающих усы, бороду и ещё кое-что к священному портрету; игра сулила освобождение от постыдного рабства, обещала веселье, а ведь я по натуре меланхолик и пессимист. При этом я тщеславен – или был таким. Мне было мало моей подпольной славы, я жаждал подлинного признания, притом никак не меньше, чем мирового. Тут явилась Кресценция, чуть ли не при первой встрече объявила, что она моя поклонница, несмотря на то, что по-русски читать не умела. Едва ли знала полтора десятка слов.

В ту пору она приблизилась к роковой черте – 40 лет. Жестокая власть цифр: годы шли, а ей всё ещё было тридцать девять. Я так и не узнал, какую должность она занимала в посольстве: машинистка, секретарша? Удалось ли ей переправить мои сочинения за бугор? Как и возраст, это осталось её маленьким секретом. Скорее всего, их перехватили; вскоре, как и следовало ожидать, Кресценция была отозвана из Советского Союза.

Я сошёл в цепочке пассажиров по трапу и поплёлся к зданию аэровокзала. Солнечный день, тишину нарушает рокот самолётов на взлётной полосе; никто мною не интересовался, никто не следил за мной, не требовал предъявить документы. Я был свободен, я был совершенно один, и меня охватило чувство сиротства. Я знал, что никогда не вернусь, никогда больше не увижу высоких, недавно воздвигнутых и уже начавших осыпаться домов вдоль Ленинского проспекта, в одном из которых нам посчастливилось получить двухкомнатную квартиру, не войду через арку во двор с остатками замусоренного газона, не поднимусь по ступеням грязного подъезда, не позвоню в дверь, которую ещё недавно собственноручно обивал красным дерматином. Двинулась лента транспортёра, мимо поехали, подпрыгивая, щёгольские заграничные кофры и саквояжи. Люди вокруг спешили, искали глазами встречающих, обнимались, я слышал восклицания, обрывки разговоров, понимал, хоть и с трудом из-за непривычного акцента, о чём они болтают, и ничего не понимал, не мог бы

сказать, кто они такие: богачи, бедняки, дворники, профессора, добропорядочные жёны, девицы лёгкого поведения? Главным и общим для всех было то, что это были *они*, а *нас* больше не существовало. Я стоял, не зная, куда податься, со своим неприглядным багажом, и тут ко мне подбежала Ценци.

Она была типичной баваркой, о чём я научился судить позже: бойкая, маленькая, темноглазая и темноволосая, считается, что такие женщины – потомки римских легионеров. Само собой, католичка. Она купила мне шляпу и новые ботинки и отбыла, обещав прислать официальное приглашение. Далее всё шло как по маслу: добравшись до рубежа, я, как принято говорить о правонарушителях, сдался баварской пограничной полиции, был не без некоторой торжественности препровождён в участок, далее помещён в деревенской гостинице на казённый счёт; приглашение пришло через неделю.

Дом находился в пригородном посёлке или местечке – не знаю, как перевести слово Ort. Сельский городок. Тишина и чистота. За живой изгородью или штакетником, за кустами жимолости и купами деревьев двухэтажные, обшитые тёсом дома с двускатными крышами, на балконах алая герань, на асфальтированных улочках ни души, кто следит за порядком, кто убирает улицы, неизвестно; до станции четверть часа неспешным шагом, до города, где электричка уходит под землю, чтобы соединиться с линиями метро, минут сорок. Мне отвели опрятную комнатку: свежезастланная постель, над изголовьем распятие. Сортир сверкает никелем и кафелем, всё маленькое, как сама хозяйка, и в то же время не по-русски просторное; и всё та же дремотная, благодатная тишь, которую изредка прерывает колокол лютеранской церкви, – после войны, объяснил муж, здесь появилось много беженцев из отторгнутых восточных земель.

Не упомянуть о нём было бы по меньшей мере невежливо. Да что там упомянуть – он сделался чуть ли не главным действующим лицом пьесы, похожей на фарс. Муж был заметно старше Ценци и представлял собой то, что называется Privatgelehrte. Рак-отшельник, самодеятельный учёный. Встретил меня весьма любезно и немедленно удалился к себе.

Он и впредь почти не вылезал из комнатки, заставленной книгами. Над чем он там колдовал? Исчезая за дверью своего кабинета, он как будто переставал существовать. Изредка сверху

доносилась игра на пианино; иногда мы гуляли по лесу, довольно быстро перешли на ты. Он не нуждался в собеседниках; ему нужен был слушатель; Ценци учёные занятия мужа не интересовали.

Над чем же всё-таки трудился герр Виллибальд? Я, по крайней мере, понял не сразу, если вообще был способен понять. В те времена я не успел ещё отделаться от привычки обозревать своё новое окружение сквозь толстые литературные очки; мне чудилось в нём что-то почти средневековое, ему не хватало только бархатного берета и мантии доктора Фауста. Имя – тоже, знаете ли... Виллибальд. Может быть, родители были поклонниками Глюка? С тех пор, кажется, это имя никто не носил.

Чернокнижнику положено быть большеголовым, бородастым карликом с кустистыми бровями, с крючковатым носом. Ничего подобного. Вилли был тщательно выбрит, одет со вкусом, под просторным твидовым пиджаком большой живот обтянут в меру пёстрым жилетом, на шее бабочка; это был крупный, толстый, тяжелобёдрый мужчина с бычьим затылком, с венцом полуседых волос вокруг импозантной лысины. Я встречал такие пары: массивный супруг и субтильная жена, так что приходит на ум непристойная мысль: как они спят?

Итак, я поселился у них, сперва считалось – временно, до тех пор, пока не подыщу себе жильё, социальную квартиру, что-нибудь такое; Ценци сопровождала меня в учреждение, где в качестве политического эмигранта я получил официальное убежище – разрешение остаться в стране, мне было назначено пособие, пока не найду себе работу. Найти работу: легко сказать... Мало-помалу я превратился из гостя в постоянного жильца.

Чем занималась Ценци? Да, собственно, ничем. Когда-то собиралась (как все девочки) стать балериной. Одно время преподавала английский язык в школе, где познакомилась с Вилли (он был директором гимназии кайзера Вильгельма), потом, как уже сказано, работала в посольстве; изгнанная из Москвы, лишилась и этого места. Завести детей не удалось – может быть, и не хотели; отчасти поэтому у супругов, судя по всему, были приличные сбережения. Вдобавок Валлибальд получал солидную пенсию. Ценци бегала по местечку, занималась общественными делами, организовала литературный ферейн, нечто вроде кружка немолодых дам, не знавших, куда себя девать. (Мне, правда, не посчастливилось

там выступить.) Дом находился на краю посёлка, позади, почти сразу за оградой, кустарник, круто поднимаясь, переходит в лес. Тучный Вилли ежедневно совершал там предписанный врачами послеобеденный моцион.

Мы вышли из дому и остановились перед тем, как начать восхождение.

«Я слышу, – сказал он, – ты успешно подвизаешься на педагогическом поприще». Имелось в виду, что у меня, наконец, появилась ученица, пожилая дворянка, обитавшая неподалеку.

Я пожал плечами; жест, который может означать всё что угодно.

«На родине ты тоже преподавал?»

«Никогда. Я самозванец. Занимался, правда, – добавил я, – переводами...»

«Вот как, это интересно. С немецкого?»

«Да. И немного с французского».

«Alors, nous sommes des collègues, un peu.* Я ведь тоже, позволю себе заметить, занимаюсь языком... Ты отдаёшь себе отчёт, – спросил он, как спрашивает учитель не слишком многообещающего ученика, – что такое язык?»

Я снова пожал плечами. Мне был неинтересен этот разговор. Но надо, как говорится, держать марку. Мне послышалась в его вопросах снисходительная нотка. Видимо, он считал меня, а заодно и всех моих соплеменников не варварами, нет, – какими-то недорослями.

Решив ответить ударом на удар и заодно блеснуть своим немецким, я изрёк:

«Язык – это внутренний образ мира. А мир – внешний образ языка».

Виллибальд поднял брови, смерил взглядом собеседника; мы стали подниматься. Я понял, что теперь моя очередь задать вопрос.

«Над чем я тружусь. Известно ли тебе... – пролепетал он, задыхаясь, – кто такой был Лейбниц?»

«Допустим».

«Ну, а... – мы, наконец, взошли на горку, – о такой штуке, как Универсальная Характеристика, слышал?»

Я покачал головой.

* Значит, мы отчасти коллеги (*фр.*).

«Это была его заветная мечта. Восемнадцатый век! Восемнадцатый век в самом начале, собственно, даже ещё раньше... И такая прозорливость».

Но это было, пояснил он, в духе времени. Век универсализма. Мечта о синтезе человеческого знания. Надо было создать некий общий метод изложения идей: представить все истины в виде формул, и тогда можно будет решать любую проблему путём математических преобразований. Закодировать всё знание о мире и человеке, заменить рассуждения выкладками, создать сверхнауку, всеобъемлющее исчисление.

«Проект мира!», – сказал Виллибальд. И погрозил мне пальцем.

Над этим, спросил я, он сейчас и работает?

«Нет, куда там, но – могу считать себя наследником великого Готфрида Лейбница».

Каюсь, надо отдать должное красноречию Вилли: его каббалистика начинала меня увлекать. Сколько здесь было истины, сколько фантазии, меня не интересовало. Но в его каббалистике (о которой я сейчас скажу) мерцала особая, мистическая красота.

Я этого ожидал: идея очень подходила Вилли, его затворничеству, загадочным занятиям. Его разглагольствования казались мне очень немецкими. Как и для многих из нас (замечу попутно), эта страна двоилась: да, зелёный, щебечущий птицами край, таинственные закаты, лунный лик Новалиса, лесная чаща, по которой едет опоясанный мечом юный Зигфрид, поэзия, музыка, всё замечательно, но за этим стоял чёрный провал недавнего прошлого; и вот теперь, когда я поселился здесь, по-видимому, насовсем, надо было основательно протереть глаза, чтобы научиться видеть не литературную страну, а реальную жизнь. Впрочем, я отвлекся.

«Нет, конечно, проект Лейбница неосуществим. И вообще, исчисление – это одно, а универсальная грамматика – совсем другое, но принцип! Принцип тот же».

Пауза. Виллибальд поднял палец.

«Между прочим, не задумывался ли ты над тем, почему дети так быстро и легко усваивают язык? Ребёнку не нужно зубрить грамматику, склонения, спряжения, ему достаточно понять значение слов, усвоить правила словообразования, чтобы овладеть

устной речью. Оказавшись в другой среде, он так же легко научится другому языку, русскому, китайскому, какому угодно. Почему? Потому что грамматическая структура, то общее, что лежит в основе всех языков, уже хранится наготове в его мозгу!».

Несколько осмелев, я спросил: что-то вроде платоновской идеи?

Вилли захлопал в ладоши.

«Хвалю! Именно так: платоновская идея языка. Но что такое вообще грамматика? Это логический костяк языка. А что значит расшифровать грамматику всех грамматик? Это значит расшифровать тайну мира, похороненную в человеческой голове. И теперь спрашивается: кто вложил её в наш мозг, с тем, чтобы она воспроизводилась из поколения в поколение? Кто создал универсальную грамматику? То-то и оно! (Хитрая улыбочка.) Это мог совершить лишь вселенский Разум».

Мы вышли из чащи с другой стороны, там, где, полого спускаясь, извилистая тропа обрывается перед сверкающим на солнце, свистящим от проносающихся машин шоссе. Опасное место. Такое же опасное, как решение задачи, ради которой предстояло пожертвовать жизнью. Моей скромной задачи, сказал Вилли. Расшифровать универсальную грамматику, проникнуть в святое святых. Я заметил странный блеск в его глазах. Отражение яркого солнца? Да, я в самом деле поддался соблазнительному обаянию его идеи. Инфернальной идеи: мнилось мне, за ней мелькает лик дьявола.

Дома оказалось, что у нас гости: приехала Ирма, старинная кресценцина подруга. Она вышла из ванной с тюрбаном из полотенца на голове, подставила щёчку для поцелуя Виллибальду. Обед, после чего все разошлись.

Ирмгард была беженкой. Не с Востока, а из Богемии, точнее, из бывшей Судетской области, где отец семейства – трое детей, и все девочки – был помещиком. Пришлось всё бросить, толпы изгнанников тащились по военным дорогам, две сестрёнки и бабушка умерли в пути.

Опишу коротко вечер, затянувшийся далеко за полночь.

Мы слышали шаги.

«В этом доме, и прежде водились привидения, – сказала Ирма. – Значит, он до сих пор ходит?».

Ценци засмеялась. Обе были уже слегка навеселе.

«Предлагаю, – сказала Ирма, – выпить на брудершафт. В конце концов мы коллеги по несчастью».

«Почему же, – возразил я, – для меня это не было несчастьем».

«Но стало?» – хихикнула она.

Ценци подлила нам вина.

«Ich bin Irma».

«Ich bin...» – я назвал своё имя. Подняв бокалы, – prost! – мы сцепились руками, как кренделями, и бодро выпили на брудершафт.

«Ну и как тебе здесь. Хороший дом, а?»

«Хороший».

Снова шаркающие шаги. Он – или оно – подошло к дверям. Мы перестали жевать сыр, за дверью никакого движения, так прошла бесконечная минута. Затем шаги удалились.

«Он пошёл наверх».

«Он растворился во тьме».

«Сейчас прокричит петух».

«Петухи теперь, моя дорогая, бывают только на базаре...»

Ирма вздохнула.

«Он и при мне ходил».

Помолчали.

«Я всё хочу спросить...».

«Да уже спрашивала...», – проговорила Ценци.

«Ты наши бабьи разговоры не слушай», – сказала Ирма.

«У меня от него секретов нет».

«А-а, вот оно что. Понимаю, понимаю...».

«Ты, девушка, пьяна», – сказала Ценци.

«А ты разве нет?».

«Мы просто друзья. Ведь правда?».

Я кивнул.

«И напрасно! – заключила Ирма и уверенно сделала большой глоток. (Я поспешил наполнить чаши обеих дам.) – Молодость-то уходит!».

«Как для кого».

«Я имею в виду... ты ведь говорила, что не спишь с ним».

«С кем, с ним? – Быстрый взгляд в сторону двери. – Ну и что?».

«Мы с ним тоже... сама знаешь. А ты мне вот что скажи, ты вообще-то не жалеешь?».

«Что вышла за него? Нисколько не жалею».

«А я не жалею, что развелась!».

Обе расхохотались. Потом стали шептаться; я взглянул на часы: завтра должны за мной заехать. Это завтра уже наступило. Ровно в 7.30 к калитке подъехала машина, старый грузный Rover. Я уселся рядом с шофёром, он поздоровался коротко, не глядя, он презирал меня. Шофёр был в фуражке, а я нацепил галстук.

Проехав через посёлок, нырнули в короткий туннель под железной дорогой, вскоре показались каменная стена и ворота. Водитель нажал на кнопку дистанционной панели, железные створы неохотно раздвинулись. Гостя встретил злобный кашель боксёра, которого удерживал на поводке человек в форменной курточке; это была старинная, с высокими окнами, одетая плющом каменная вилла, именуемая замком, над подъездом сохранилось что-то вроде герба; я вошёл и поднялся по лестнице.

Frau Gräfin, так полагалось её называть, ждала меня наверху: сухая антикварная дама подстать старинному резному столику, за которым она сидела, в тёмном закрытом платье с кружевным воротничком вокруг шеи, в лиловом шиньоне. При первом визите она показалась мне чопорной, такой я представлял себе баварскую графиню. На самом деле она была скромная, тихая, какая-то потерянная женщина, очень старательная, совершенно неспособная, и терялась, когда я пытался объяснить ей ту или иную несуразность русского языка. Зачем он ей понадобился?

«Самое трудное, – сказал я, – это глагол. Русский глагол имеет всего три времени, не так, как в немецком».

Она испуганно смотрела на меня, приоткрыв маленький рот.

«Но зато имеются виды, совершенный и несовершенный. Они компенсируют бедность прошедшего времени. Например: я писал и я написал...»

Обыкновенно к исходу положенного часа слышалось поскрипывание колёс, в комнату, управляя одной рукой, въезжал в кресле-каталке её муж. Тут уж говорить о бедности прошедшего времени не приходилось.

Как ни странно, мы с графом не то чтобы сблизились, – об этом не могло быть речи, – но нашли общий язык. Отчасти оттого, что он видел во мне представителя страны, где воевал, поте-

рлял руку, пожалуй, и часть рассудка. Опять-таки не хочу называть его звучное имя; он был родом из Восточной Пруссии, которой теперь не существовало, и принадлежал к далёким временам, когда знать поставляла отечеству затянутых в тесный мундир, сверкающих козырьками и лакированными сапогами вояк. Урок был окончен, моя ученица записывала домашнее задание. Мне было предложено кофе, графиня накапывала в рюмку бывшему капитану вермахта капли.

Вернувшись, я ещё застал Ирму, она не хотела долго задерживаться. Но я не досказал: вернись к той весёлой ночной попойке или, лучше сказать, к непристойному намёку, который позволила себе подвыпившая подруга. Разумеется, Ценци, как и положено добродетельной супруге, решительно отмела эту инсинуацию. Ирма, однако, лишь усмехнулась... Мне неизвестно, при каких обстоятельствах совершился брак Ирмаггард и Виллибальда, как протекало супружество и почему они развелись, – давно было дело, – но, по крайней мере, из разговора обеих дам становилось ясно, что «наш общий муж» не стал мужем ни для той, ни для другой. И что же? Да ничего.

«Он не войдёт, – сказала Ценци, – во-первых, он никогда не входит, а во-вторых, это не он, а привидение».

Мы лежали в постели – увы. Покоились, легкомысленно-благодарные, готовясь мирно уснуть после любви, а призрак в долгополом халате бродил по дому. Это продолжалось недолго; он поднялся наверх. Несколько минут спустя мы услышали музыку, Вилли исполнял дивертисмент Моцарта, переложение для клавира. Играл он плохо.

Любил ли я Кресценцию? Мне трудно дать однозначный ответ. Я готов понять мужиков, которым мало одной женщины, но сам я однолюб. Это не порок и не достоинство, а просто черта характера. Я любил по-настоящему только одну женщину – мою жену. Она отказалась (после долгих ночных пререканий и слёз) ехать со мной и, чтобы не носить мою фамилию, подала, как уже сказано, на развод, это был разумный шаг. Не хочу оправдываться, связь с Ценци была – что тут удивительного? – попыткой хотя бы немного поправить вдребезги разбитый внутренний, да и внешний мир, если угодно – удержаться на плаву. Тут, конечно, сыграло роль всё сразу: и обыкновенный мужской голод, и барахтанье утопающего, который хватается за борт подоспевшей

лодки. Думаю, что и милая моя Ценци учитывала, так сказать, это обстоятельство.

Женщина – это пристань, дом; звучит тривиально. Стол, постель. Этому предназначению, правда, – не хочу быть циничным, но раз уж зашла об этом речь, – не вполне отвечало телосложение Кресценции Аделаиды: меня всегда привлекали женщины иного типа: широкобёдрые и полногрудые, несуетные, неторопливые, излучающие покой. Но делать было нечего, я поддался её натиску, впрочем, достаточно тактичному. Её любовь – это была для меня, если подвести итог, замена очага и отечества.

Мысли эти возвращают меня, как ни странно, к однорукому графу, мужу моей единственной (как оказалось) ученицы. Спросят: причём тут граф? Причём тут война и отечество... Ах, не всё ли равно.

Невооружённым глазом было видно, сказал он, что сдача Одессы повлечёт за собой и потерю Крымского полуострова, так оно и произошло. Потеря Керчи, Феодосии, уход из главной... «подскажите мне: главная военная гавань...»

«Севастополь» – сказал я. Это были его места. Черноморское побережье и безрадостная крымская степь – такова была в его представлении Россия. Он попал под обстрел где-то возле Джанкоя.

«Отступление, если не провести его своевременно и сухопутным, а не морским путём, будет стоить нам огромных жертв, это тоже можно было предвидеть...»

Жена неслышно вышла из комнаты; он посмотрел ей вслед. Может, они и меня-то решили нанять в учителя, чтобы ему не сидеть одному?

«Да... – вздохнул инвалид. – Вы, мой друг, не можете себе представить, что получается, когда огромной, самой дисциплинированной и самой боеспособной армией командует дилетант, выскочка, недоучка...»

Я заметил, что и нами руководил человек, не имевший военного образования, ни разу не побывавший на фронте.

«Если я правильно информирован, – заметил граф, – вы были врагом режима».

Я пожал плечами.

Он возвысил голос. Жена, как всегда, в тёмном платье с воротничком гимназистки, явилась на пороге. Граф кивнул. Кресло подъехало к резному столику, она расправила и подоткнула

плед на его коленях. Чёрная, с золотой этикеткой бутылка воздвиглась. Хозяйка удалилась.

Ветеран сам разлил коньяк по рюмкам.

«Вы думаете, что Германия могла бы выиграть войну?» – спросил я.

«С Россией? Так думали все. Ваше здоровье».

Он ждал вопросов. Мне хотелось кое о чём его расспросить. Я молчал.

«Без сомнения, – сказал он. – Да, вне всякого сомнения мы выиграли бы войну, если бы не этот самовлюблённый болван. Русское население было одурачено марксистской пропагандой. Мы несли ему освобождение. Нас встречали с цветами...»

«Почему же тогда...»

«Почему русские оказали нам сопротивление? Я вам объясню...»

В другой раз он не показывался, я не спросил, почему. Старушка развернула свою тетрадку, где чрезвычайно аккуратно, каллиграфическим почерком были переписаны упражнения, которые я задавал. Было совершенно ясно, что она никогда не научится языку. Да и педагог, по правде сказать, оставлял желать лучшего. Покончив с уроком, я пил с графиней кофе, поглядывал по сторонам. Она подвела меня к другому столику в углу гостиной, там стояли фотографии двух молодых ребят в военной форме, светлоглазых, светловолосых, с оттопыренными ушами, как у подростков очень похожих друг на друга – видимо, близнецов. Оба были убиты на Восточном фронте.

Так всё и шло, давно уже наступила осень, я по-прежнему гулял по лесу с Виллибальдом, слушал, как ветер, налетая, шумит в верхушках деревьев, и внимал рассуждениям Вилли о том, что Шопенгауэр ошибался, называя музыку голосом безначальной и злой мировой воли, а сам обожал сладкозвучного Россини; нет, говорил он, музыка, есть нечто иное, это, если угодно, образ высшего разума, а точнее, отголосок, отражение, инобытие Универсальной Грамматики; по ночам я прислушивался к шагам, к поскрипыванию ступенек, и мирно засыпал, обняв тёплую Ценци. Дважды в неделю ездил в замок и пил золотистый напиток забвения с искалеченным графом, – так оно и шло.

Что-то происходило со мной в эти месяцы, незаметно для себя я начинал по-иному относиться к моему славному дисси-

дентскому прошлому, к нашему журналу и моим смехотворным литературным амбициям, – если хотите, стал ренегатом по отношению к самому себе. Советскую власть я не полюбил, она попросту перестала меня интересовать. Живя у супругов, я ни разу не притронулся к бумаге. Ценци, которая когда-то собиралась предложить мои творения одному здешнему издательству, никогда об этом не вспоминала; я и не спрашивал. Я понимал, что если когда-нибудь вернусь к писательству, это будет совсем другая литература. Какая же? Тут нужно было вновь пожать плечами. Другая – и всё тут.

Я спросил однажды графа (набравшись некоторого нахальства), как он относится ко всему этому.

«К чему?»

«К войне... и вообще к немецкой истории».

Он усмехнулся углом рта.

«Вы не возражаете?» – спросил он, как обычно, когда жена внесла пузатые рюмки, что-то скудное на блюдцах и всё тот же чёрно-золотой сосуд.

«Вы, очевидно, ждёте от меня, что я скажу, что я враг националсоциализма, всегда был им, и... и глубоко раскаиваюсь в преступлениях, совершённых нами по отношению к другим народам. И так далее. Басни для старых баб. Prost!».

Тусклый, холодным взор. Словно он спрашивал себя, что за субъект оказался в его доме. Или он просто меня ненавидел?

«Чтобы так говорить, бить себя в грудь, надо быть человеком другого поколения. Не пережить того, что пережили мы... Наше поколение заплатило по всем счетам...»

«Вас удивит, – продолжал он, – если я скажу, что осуждал Штауфенберга и остальных... вы, наверное, слышали о покушении на Гитлера?»

Кое-что, отвечал я.

«Я считал их – и считаю – изменниками. Когда враги теснят Германию со всех сторон, когда бомбы сыплются на наши города. Слов нет, этот макабрский клоун Геббельс, заплывший жиром Геринг и вся сволочь могли внушить только отвращение. Да и сам фюрер...»

«Видите ли, mein Herr, я был воспитан в среде, где было азбучной истиной, что немецкий офицер не занимается политикой. Не лезет в эту грязь... Его дело – защищать отечество, ис-

полнять свой долг. Конечно, мы начали с того, что нападали, а не защищались. Но на то были свои причины... Я избрал военную карьеру, как это делали мои предки. Между прочим, для этого не требовалось быть националсоциалистом. Я никогда не был членом партии, я знал, что можно сохранить своё достоинство, делать своё дело и оставаться вне политики. А если вернуться к вашему вопросу насчёт истории, что я о ней думаю... то вот вам мой ответ: это сумасшедший дом. История моей страны в этом веке, да и вашей, – сумасшедший дом. Prost».

История подошла к концу – я говорю о моей собственной истории. Должно же было чем-то кончиться всё это. У меня нет большого желания досказывать, но придётся.

Мы уже спали, когда с шумом (который во сне показался грохотом рухнувшей вселенной) распахнулась дверь. Ценци тарщила заспанные глаза.

«Вилли, что случилось?..»

Вилли, большой толстый Вилли, отнюдь не в ночном халате, но одетый, как днём, при полном параде, с невыразимой тоской в глазах стоял на пороге и держал перед собой пистолет.

«Перестань, – сказала она, – что это, для тебя новость?»

Виллибальд молчал.

«Что случи-илось? Ви-илли!» – пропела Ценци.

«И ты ещё спрашиваешь, – прокрипел он. – И ты ещё смеешь спрашивать! Убирайтесь. Убирайтесь оба... Вон!» – заорал он.

Я живу теперь в другой стране. Живу далеко, вы не поверите: в Королевстве Новая Зеландия. Как это получилось, расскажу как-нибудь в другой раз. Причём на Южном острове, где зима посуше, чем в Европе. Живу теперь окончательно один. Иногда вспоминаю Кресценцию, колокол лютеранской церкви, тропинки в лесу, Виллибальда...

В огромном ворохе бумаг, среди таблиц, выписок и прочего не нашлось ни письма, ни прощальной записки. Ценци рыдала и ничего не могла сказать. Я ответил следователю, что считаю виновным себя.

Поиски универсальной грамматики, этого философского камня, не удались; подозреваю, что они и не могли увенчаться успехом. Может быть, Вилли был одним из тех, для кого крушение веры, а ведь это была вера, не больше и не меньше, вера в

мировой разум, – означает крах, катастрофу всей жизни. Может быть, оттого он и покончил с собой, остальное было лишь поводом. Прав ли я? Не пытаюсь ли успокоить свою совесть? Глаза Вилли, полные горя, и сейчас стоят передо мной. Кстати, я не знаю, откуда взялось у него оружие, он был сугубо штатский человек.

Вспоминаю ли я Россию? Да... изредка.

У меня странное чувство, что всё возвращается, как говорит Экклезиаст, на круги своя. И если я когда-нибудь вернусь к своим литературным упражнениям, то, вопреки всему, вопреки моим собственным заверениям, поверну на изъезженные колеи. Выяснилось – теперь уже окончательно, – что ни на какие другие темы, кроме русских, я писать не способен.

Борис Хазанов родился в Ленинграде в 1928 году, учился на филологическом факультете МГУ, был репрессирован – с 1949 по 1955 год находился в сталинских лагерях, окончил Калининский медицинский институт, защитил кандидатскую диссертацию, был редактором научного журнала «Химия и жизнь», эмигрировал в 1982 году в Германию. Автор книг «Запах звезд», «Идущий по воде», «Страх» и многих других, член Международного ПЕН-клуба и Баварского союза журналистов. Живет в Мюнхене.

ДВЕНАДЦАТЬ ВИННЫХ ЯГОД

на новый год двенадцать винных ягод
империя распалась но взамен
когда-то дефицитным виноградом
в тотальную эпоху снегопада
ты заглушаешь горечь перемен
а что тебе еще для жизни надо?

на новый год двенадцать винных ягод
одна в одну ни пятнышка на свет
как будто город выключил рассвет
и мощным электрическим разрядом
наполнен целлулоидный пакет
а что тебе еще слепому надо?

на новый год двенадцать винных ягод
привет из галактических теплиц
мир без ума европа без границ
россия непонятно где но рядом
ты все еще не маленький но принц
и две открытки праздничные кряду...

* * *

нет чтобы блюз на клавишине
иль артишок на мостовой –
мне выпал вечер темно-синий
над опустевшей головой
без мысли крохотной и века
серебряного рифмы без
как череп но без человека

как без сосны сосновый лес
как без любви постель и пушка
без непременно ядра...
один – как волос на макушке
и вечер темный – как дыра

* * *

это все ля-рошель дорогая моя это все интерьер
это все до-ре-мины павлины и прочее свинство
это все алягер дорогая моя это все ж алягер
а на ком алягер есть всегда отпечаток убийства

это все до поры дорогая моя до кровавой зари
и еще от того что остались заряды в мушкетах
это все за любовь дорогая моя это все от любви
а еще от того что будь прокляты эти поэты

* * *

вот только нет ее – любви-то
старуха есть и есть корыто
и на столе есть что поесть
и рыбка в золотой попоне
хоть не говно а все ж не тонет
и тоже мучается здесь
но нет любви-то! аз червь есьм
но нет любви: ни так ни к богу
ни к родине что за порогом
то степь кругом то стервь то песнь
похабная то бьют тревогу
то будто в черную берлогу
тебя закатывают в жесть
а ты все есть и есть и есть
поэзия которой много
так много что и
не прочесть

* * *

ладно бессонница... на! получи и пропей!
я же пошел собираться туда где среди океана
ждет меня женщина племени белых ночей
крутит табак на подсушенной шкурке банана

там мое солнце еще ни фи́га не взошло
там еще фиников тьма а на старость покатит
гроши́к в кармане – да есть еще два за душой
есть еще порох
и видимо этого – хватит!

* * *

мимо острова старых щенков
неуклюж как свинья в лабиринте
этот траурный траулер «орлов»
никогда не дотянет на питер

не дано ему преодолеть
с его жалкой смертельною тягой
даже части пути даже треть
до канадского архипелага

мимо острова просто любить
бултыхаясь в сиреновой жиже
до парижа ему не доплыть
ну куда же ему – до парижу

что ни день то аврал и изъян
из моторного стоны и копать
да и лоцман стоически пьян
да и рыба сокрылась в природе

ближе только до первого дна
в окружение всех кто не нужен...
а на острове посланных на
заготовлено место и ужин

* * *

на мне тельняшка – в рыжую полоску!
и в левом ухе – новая серьга!
любимая! я твой хмельной матросик
забытый на чужбине впопыхах

оставленный в пустыне каракумьей
лежать под саксаулом на песке
три капельки любви в горящем трюме
и парусник двугорбый – вдалеке

* * *

долечу ли пухом дотянусь ли прахом –
где-то есть то деревце с фиговым листком
с бронзовой кожицей маслянистым запахом
на прелестном острове – знать бы на каком...

нет его на глобусе нет в литературе и
кажется во времени нет координат
но цветут на деревце маленькие дули две
остренькие дули две в стороны глядят...

и недостижимый а не взор черешневый
манит птицу певчую бронзовый искус –
долететь хоть пухом! дотянуть хоть перьями!
эх тоска фиговая – фиговая грусть...

* * *

до свидания птица колибри
крибле крабле естественно бумс!
от меня уплывают каробы
и срывается в небо эльбрус

скарб волшебника: скатерть да шапка
сапоги да четыре стены...
до свидания рыбка и рябка
наши сказки уже сочтены

до свидания пик альтруистов
до свидания жизнь-ананас
судным днем дожидается пристав
крибле крабле естественно нас

смерть волшебника проще простого
загадал – и исчез в облаках
но сначала – волшебное слово
и ресницами взмах только взмах

* * *

сегодня ветер выбивал окно – не выбил
а мне с утра хотелось выпить но – не выпил
не то что б вовремя сдержался просто – сдрейфил
что губ чувствительный металл – сорвется с петель
и понесется через лес – эх дров накосит
на все четыреста парсек – нарубит просек
набьет посуд нарежет дыр – черней чем вакуум
под скрежет безобразных рифм – упрутся в мякоть
твоих вселенских земляник (они мне снились!)
но ты... ты скажешь: «Вот, старик, и Вы – влюбились?
Я Вас молю, не надо так. Вы просто – выпил...»
сегодня ветер рвался так – в окно... не выбил

* * *

где река расширяется и тормозит
упирается бедрами в местный гранит
удивляясь тому что тонка и легка
а теперь вот никак не проходят бока

а теперь тяжела – и воды не поднять
и мутит и к соленому тянет опять
я живу... вижу море... и вижу собор
выше крыши – простор ниже бухты – простор
я состарился в этом смешном городке
где есть место собору простору реке
где однажды забившись в свою конуру
я умру

* * *

звезда ничуть не источала света
серела мгла не истончая тьмы
сияла высь как купол минарета
над миром остальной величины
река смежала снежные пространства
сугробы сбились в спящий караван
и в небеса лениво поднимался
кромешный но всевидящий туман

Евгений Орлов окончил филологический факультет Ленинградского университета, автор книги лирики «Грамматика слуха», лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе конкурса Союза писателей Латвии и Посольства России в Латвии, член Союза журналистов Латвии. Родился и живет в Риге.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил...

Лук. 1:3

Не успел отступник договорить, как на него бросились со всех сторон. Он покачнулся и исчез под градом ударов. «Затопочут...», – пронеслось у меня в голове. Это поняли и восседавшие на помосте священники – я услышал повелительные возгласы, увидел распростертый взмах жезла, пронзительно вспыхнувшего предзакатным солнцем. Приказания возымели действие – набежавшая волна замерла, как будто в раздумье, потом дрогнула, и нехотя покатила в обратную сторону. Пестрые людские пятна, на мгновение слившиеся в жаркой дымке, медленно расползались, словно выплывали из потерявшего силу водоворота. Яростный рев перешел в недовольное рычание. Толпа опомнилась. Осквернять святое место было нельзя. Все знали: изгнание жизни из тела не должно совершаться в храмовых пределах, поблизости от алтаря Сущего. Только идолопоклонники вносят в свои капища дух человеческой смерти. Но что дальше? Возбужденные ряды алчно рокотали. Неужели богохульник избежит наказания? Его отдадут страже? Будет расследование? Опрос свидетелей? Пустое, власти сначала проволыняют, а потом втихую помилуют отщепенца – знаем мы, этим властям нет никакого дела до Божьих заветов. А здесь все ясно: он сам во всем признался, лжепророчествовал в виду народа и жизни не заслуживает. Но как быть? Мои соседи переговаривались, никто ничего не понимал.

Мало-помалу движение в толпе возобновилось и приобрело направление. Воздетые руки рубили воздух, копьевидные бороды вздрагивали с каждым шагом – течение разъяренных лиц устремилось в нашу сторону. Я повернулся боком, расставил ступни, чтобы удержаться на месте, и вскоре увидел окровавленного отступника. Руки его были связаны, он шел, припадая на обе ноги, в окружении группы разгоряченных ревнителей, твердо глядевших перед собой. Конечно, как же я сразу не понял: на нашими спинами находились ворота, ведущие в Долину Казни. Мы расступились. Я увидел, что многие уже выбегают за городскую ограду – спешат запастись камнями.

Вместе со всеми я двинулся за обреченным. Шум голосов сменился равномерным скрипом щепенки, терзаемой сотнями сандалий. Люди молчали и как будто смотрели в одну-единственную точку. Споры прекратились – все было решено. Толпа понемногу вытекала из города и сдержанно гудящим ручьем стремилась к Камню Позора. В центре образовавшейся процессии шагал отступник, по бокам суровой стеной шли ревнители. Я старался держаться поближе к их спинам, даже не знаю, почему. Тропа круто уходила вниз, кто-то споткнулся, упал, ему помогли подняться. Я огляделся по сторонам – без излишнего любопытства, не вертя головой. Многих из идущих рядом я знал, были среди них и мои нынешние соученики, толкователи всех возрастов и состояний. Мы обменялись сдержанными приветствиями. Это помогло мне избавиться от странной тяжести, внезапно набухшей каменным кулаком и перекатывавшейся в самой глубине груди. Я с радостью задышал через нос, медленно, но протяжно, и окончательно убедился в правильности происходящего. Да могло ли быть иначе? Все делалось в полном соответствии с написанным. Я продолжал оглядываться, и с появлением каждого знакомого лица испытывал все большее облегчение. Наконец меня охватило чувство сопричастности к важному делу, хотя я бы не смог объяснить, какому?

Внезапно восторг узнавания пропал. Что-то по-прежнему мешало мне, давило на плечи. Конечно, я понимал, что молчаливый приговор толпы справедлив, но радости не ощущал. Но ведь и это правильно, сказал я себе: нами ведет грустная необходимость, а не жажда крови, мы исполняем веление Закона, а не алчем чужих мучений, не кадим красногубым идолам. Это – не жертва, а нака-

зание. Мы – не варвары, а люди единого Бога, нет для нас закона выше небесного. Тяжек долг праведного, узка дорога верного. Сбиться, уйти далеко за обочину – значит, вместе с истиной предать и Того, Кто нам ее заповедал. Даже колебание – преступно, и тернии на пути – не препятствие, а награда. Отступить – все равно, что отречься. Потому что за шагом на месте следует шаг назад, а за ним – шаг в сторону. В пропасть.

Я пытался молиться за спасение души богохульника, но никак не мог закончить хотя бы одну фразу. Откуда-то выплывало: «Вразуми... вразуми...», – но дальше дело не шло. Твердо заученные слова вдруг пропали в каземате потерянной памяти. Наверно, на меня подействовала жара. Я скосил глаза и вдруг увидел того – и сразу себе в этом признался – кого более других хотел бы встретить посреди мрачно уверенной толпы. Я позволил своему взгляду ненадолго задержаться на крепко сбитой, приземистой фигуре и удостовериться в происходящем. Странно, что до сих пор я его не заметил. Может, он поначалу шел сзади, прямо у меня за спиной? Я снова испытал облегчение. Вряд ли здесь мог находиться кто-то, кого бы я лучше и дольше знал, в чьей ревности и следованию долгу я был убежден много более чем в своей. Его присутствие внушало уверенность. Он не обращал на меня внимания, шагал рядом и, подобно остальным, смотрел прямо перед собой. На запылившемся лице проявилась сеть мелких морщин, сходящихся к углам глаз и падавших со лба на переносицу. Потные волосы кучерявились по краям проступавшей лысины, холмистая борода спуталась больше обычного. Растрескавшиеся губы беззвучно шевелились. Я подумал, что он испытывает сходные чувства, молится за просветление отступника, и позавидовал – он-то никаких слов не забыл. Спустя мгновение я в который раз остро понял: мне за ним никогда не угнаться. И впервые осенила мысль, беспричинная и тревожная: он отличен не от меня одного, но от всех нас – только мог ли я представить, что скрывалось за правотой этого неясного озарения?

Путь оказался недолог – солнце сдвинулось лишь самую малость. Тропа изогнулась вокруг зубчатого края скалы и вывела нас к месту казни. Все теснились и тянули шеи, не желая ничего упустить из виду. Вдруг возникло непредвиденное замешательство – осужденного надо было возвести на Камень Позора. Он не сопротивлялся, но его ослабевшие ноги подкашивались

и соскальзывали с гладких закругленных ступеней, отполированных ветром и пустынным песком. Двое ревнителй тянули смертника сверху, еще один подталкивал его в спину. Они немело торопились, но дело не шло. Я пожалел, что с нами нет стражников. Вдруг кто-то из ревнителй оступился, и все они, ругаясь и призывая проклятия на голову казнимого, скатились вниз. Поднялись на ноги, мрачно оглянулись и начали сызнава. Ими руководила какая-то топкая уверенность, тяжелевшая на глазах и растекавшаяся по сторонам. Теперь они решили связать приговоренного грешника и забросить его наверх, словно тук с одеждой. Почему-то никто не вызывался им помочь, люди молча заполняли пространство вокруг Камня, стараясь не оказаться слишком далеко от происходящего, но и не подойти слишком близко к обреченному и его невольным носильщикам. Трое избранных были уже не рады, что взялись за исполнение общей воли – они запыхались и покраснелись, крупные капли пота текли по их раздувшимся щекам. Я обратил внимание на виноватое выражение лица отступника – он как будто не хотел быть причиной излишних забот.

Устав от этого зрелища, я, наконец, решился завести разговор с тем, кто стоял рядом со мной, повернулся и, пытаясь поймать его взгляд, опять не к месту проговорил: «Вразуми...» Здесь толпа подалась назад и недовольно загудела. Нас притиснуло друг к другу, рвануло, но мы удержались на ногах, потом, не сговариваясь, сделали шаг вперед и оказались совсем близко от раздосадованных очередной неудачей ревнителй. «Посторожите-ка!» – проронил один из них и, не дожидаясь ответа, скинул плащ. Мы молча кивнули. Увидев это, его товарищи тоже сбросили верхнюю одежду и снова взялись за дело. Вдруг мелькнуло: ведь отступник старается им помочь, он хочет поскорее забраться на Камень Позора и покончить с мучениями – своими и нашими. Эта мысль была мне неприятна. Я опять скосил глаза, а потом, переминувшись с ноги на ногу, стал так, чтобы лучше видеть своего соседа, по-прежнему не обменявшегося со мной ни единым словом. Губы его все так же шевелились. Мне казалось, я мог разобрать слово «воистину», и опять ему позавидовал – нет, в отличие от меня, он не испытывал никаких сомнений. Впрочем, едва ли можно было ожидать меньшего – подобно факелоносцу, он всегда летел впереди, мне оставалось только догонять.

Уже много лет я шел по его следам, и все время опаздывал: раскрывал тайны, им давно отброшенные, взбирался на высоты, им обозначенные и покинутые. Никогда, никогда я не мог понять его сегодняшнего, а только вчерашнего. Еще в отрочестве он часто походя объяснял мне какую-нибудь малость, казавшуюся тугим клубком парадоксальной невнятицы, для него – несущественную, а для меня – темную и тревожную. Не раз я, подобно остальным сверстникам, благодарил его за науку, за разоблачение мнимой путаницы, смутившей мои мысли, а он непринужденно кивал в ответ и неся дальше. Но никогда, никогда мы с ним не говорили на равных. Вот почему так сладостно было стоять с ним рядом, быть там же, где он, в самых первых рядах верных и избранных.

Такого еще не случалось, да и не могло случиться. Несмотря на все мои стремления, после достижения зрелости мы редко сталкивались, разве только на собраниях толкователей. Он приветственно складывал руки, иногда обменивался со мной несколькими фразами, но не более. То же произошло, когда мы впервые встретились здесь, далёко от нашей общей родины. Он нимало не удивился, увидев меня, спросил о том, о сем, потом его отвлекли двое спорящих ревнителей, подошедших за советом, еще мгновение – и он пошел вместе с ними, сразу смешавшись с группой ожесточенно жестикулировавших молодых людей. Я успел заметить, что его внимательно слушали и не сразу перебивали. Видно было, что даже среди здешних – самых начитанных и ревностных блюстителей Слова – он является далеко не последним. Стало стыдно за собственную ущербность – ведь легкое покрывало моих познаний по-прежнему пятнали мириады пробелов, очевидных первому встречному. Как и раньше, я был обречен следить за ним со стороны. Но не скрою, иногда в собраниях меня охватывала тайная гордость – вот каких вершин духа сумел достигнуть мой давний товарищ!

Все началось еще в нашем родном городе, когда мы только поступили в учение. Да, конечно, мне есть оправдание, простое и очевидное, к которому я слишком часто униженно прибегал, начиная с самого детства: он ведь родился на два года раньше меня, он всегда был взрослее. Почему старший не может опережать в учении младшего, утешался я. Чем дурно такое превосходство, определенное изначально? Думать иначе – не нарушить ли ход

вещей? Желать обратного – не оказаться ли в плену гордыни? Я хорошо помню наши школьные часы: не раз он прежде других отвечал учителю Закона, ладны были в его устах священные слова, легко плыли они, одно за другим. И в другие дни, на занятиях у риторика и грамматика, столь же плавно выскальзывали из его губ, нанизывались в прочную цепь посылки и доводы совсем иного, совершенно земного, даже заведомо приниженного свойства... А я все так же сидел среди других учеников и мучительно мечтал о том, что когда-нибудь смогу, подобно ему, встать перед всеми и превзойти равных: отличиться красотой речи, глубиной знаний и остротой суждений.

Верно: ступени мудрости не терпят прыжков, но ведь годы детского учения давно прошли. Давняя загадка изобретательного остроумца обещала хотя бы сокращение расстояний между преследователем и впередсмотрящим, но не единожды мне приходило в голову, что зазор между нами не подвластен времени и навсегда останется неизменным. Кто солгал, что с возрастом различия в знаниях должны стираться? И тогда, у Камня Позора, и теперь, выйдя из дома, где мы, возможно, говорили в последний раз в жизни, я чувствую то же, что и много лет назад, когда никто, кроме учителя, не мог понять точности его ответов и хода цепких рассуждений. А мог ли, подумал я, угнаться за ним и сам почтенный наставник, всё ли улавливали в беге его мыслей седебородые проводники по дорогам мудрости, казавшиеся нам кладезями сокровенных тайн? Не скрывалось ли за ритмичными кивками их благообразных голов точно такого же порожнего непонимания?

Отступника, наконец, взволокли на камень. На мгновение он замер у щербатого края, потом – толчок, и тело, неуклюже взмахнув крыльями окровавленных тряпок, ринулось вниз. Раздался глухой удар. Здесь мой давний соученик вдруг повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Воистину так!» – проговорили его губы. «Воистину!» – с облегчением прошептал я в ответ. Мимо нас ринулись кричащие люди с камнями в руках. Многие несли в складках плащей целую грудку булыжников, и теперь старались быстрее от них избавиться. Казалось, рядом застучал град. Мы поневоле прижались друг к другу и расставили руки, чтобы уберечь одежду ревнителей. Я вдруг подумал, что никогда еще мы не были так близки, не действовали заодно, никогда я не оказыв-

вался наравне с ним, плечом к плечу. Но больше в тот день мы друг другу ничего не сказали.

Урчание в глубине толпы постепенно затихало. Кто-то уже шел обратно в город, вполголоса молясь и равномерно двигая поясницей. Наступило утомление, как после пронесшейся бури, не было только очистительного успокоения. Все плыло перед глазами. Я тряхнул головой, пытаюсь привести в порядок свои мысли. Почему-то нас обходили стороной – или это мне почудилось? Одежда ревнителей по-прежнему лежала у наших ног. Неожиданно захотелось взглянуть на казненного: я повернулся и не без труда, двигаясь против людского течения, подобрался к груде камней. Из-под нее виднелись посиневшие ноги отступника, тянулся подсыхавший бурый ручеек. Комок желчи бросился в горло, но я сжал зубы и сумел подавить приступ дурноты. Не знаю, сколько времени прошло. Когда я вернулся назад, то застал устало подпоясывающихся ревнителей, а его – его не было.

Я шел в город обессиленный, одинокий, опустошенный. Ноги еле двигались вверх по склону, словно в конце восхождения на упрямую горную кручу. Я знал, что казнь была справедливой, но сердце мое молчало. Увы, я не выдержал испытания, и винить в этом стоило только себя. Значит, я еще недостаточно тверд. Мои губы жадно хватали вечерний воздух, воловье стрекало вертелось под ложечкой. С горечью я понял: мне еще далеко до совершенства в учении, мое проникновение в глубины Слова и Закона ничтожно. И в который раз увидел, сколь неимоверно уступаю тому, за кем так долго стремился угнаться.

Потом я узнал, что на следующий день он пришел в собрание верных, и просил вменить ему в обязанность розыск остальных отступников. Настаивал, убеждал и добился своего. Говорили даже, что впал в иступление, что клялся искоренить их до последнего человека. Я был удивлен – и поспешностью его действий, и тому, что настолько мудрый, как казалось мне, человек, почитает необходимым такой жестокий шаг, что не видит других путей, других забот. Почему? – думал я. Неужели он опять видит дальше всех?

Тогда на счет несчастных, отклонившихся от Закона, существовала избыточная разность во мнениях. Одни считали, что их незачем трогать – столь малы они числом, столь косноязычны и необразованны. Бог, пренебрежительно утверждали многие, сотрет их с лица земли и без наших усилий. Конечно, надо казнить

богохульников, дерзающих публично проповедовать свои ереси, но незачем гоняться за каждым деревенским сумасшедшим. Другие снисходительно полагали, что ничтожные души отступников заслуживают спасения, и что их необходимо терпеливо разыскивать и вразумлять до последней возможности. Третьи же склонялись к проклятию и изгнанию, а в случае появления отщепенцев в пределах действия наших законов – к казни, хотя последнее осуществить было труднее, чем сказать; ведь высшая власть в земле отцов нам уже давно не принадлежала.

Скоро стало ясно, что пронизательность моего друга опять не снискала себе равной. Посрамил своим поступком он и меня, думавшего, что все завершилось страшной, но необходимой казнью главы отступников и рассеянием их немногочисленной общины. В кругу избранных, к которому я тщательно прислушивался, считалось, что нам должны предстоять иные задачи, великие и грозные: осталось лишь собраться лучшим из верных, и провозгласить, как подступиться к ним, как готовить неизбежную бурю. Приближалось время исполнения предсказаний, гневных и недвусмысленных, и надо было срочно мастерить парус для неборимого Ветра Господня. Слушая такие рассуждения, душа моя освобождалась от пут неясного сомнения – ничего не представлялось мне невозможным.

Увы, твердость в учении не спасает от ложных шагов. Волны, взбудораженные горсткой отверженных, начали расходиться. Но долго еще близорукость мысли мешала недальновидным разглядеть истинное лицо уловителей нетронутых душ. Одним из заблуждавшихся был тогда и я. Разве стоила внимания судьба обреченных оборванцев и их шарлатанствующих предводителей? Не чрезмерна ли будет для них честь нашего рвения? Лишь немногие из предстоятелей чувствовали неладное. Но мой соученик своими жаркими речами сумел убедить обеспокоенных: ему поручили разыскивать отступников по всему городу и окрестностям, вызывать их на публичные споры, а в случае несомненного богохульства – кликать стражу и требовать законного суда.

В собраниях книжников и ревнителей я его больше не видел – меня это очень огорчало. Вот тебе награда за старания и упорство! Ведь, по правде, я перебрался сюда вслед за ним, преуспев лишь после длительных уговоров противившегося отца, не желавшего отпускать меня на долгий срок, пусть даже для

благой цели. Но мои желания были слишком сильны, и я не мог набросить на них узду сыновей покорности. Не стыжусь сказать, я с радостью покидал родные края. Подобно моему старшему другу, давно оставившему их пределы, я понял, что больше ничего не смогу взять у тамошних учителей, когда-то высившихся неприступными столпами мудрости. Была обида – почему он мне этого не объяснил? Столько времени ушло! Ведь незадолго до его отъезда мы не раз говорили об ученых предметах, не раз сидели за свитками в кругу верных. Почему он делился со мной только толкованием священных слов, но не своими мыслями?

Вот и теперь он надолго пропал из моего взора. Хотя не раз до меня доносились слухи о его радении и неустанном подвижничестве во взятом на себя деле. Он преследовал отступников с неумолимым тщанием, раскапывал потаенные и глухие норы, где иногда скрывалось всего несколько человек. Знающие приносили его имя с уважением. Я постепенно склонился к тому, что он был прав, и опять ему позавидовал. Снова он раньше всех понял: сегодня самое важное – блюсти Закон в наималейших подробностях, выжигать его нарушителей с корнем. Любое нарушение единства людей Слова – вот самая страшная угроза. Будущее – в прочности и стройности, в отсечении ветвей гнилых и трухлявых. Как я мог этого не осознавать, как дошел до того, что почти сопереживал казнимому отступнику? Мне было стыдно, и в раскаянии я пошел на собрание ревнителей.

Откроюсь: я уже помышлял о том, чтобы прекратить книжную мороку и возвращаться домой. Мой отец всегда хотел, чтобы я обучился врачебному искусству – вот и верно, думал я, стану пользоваться страждущих или хотя бы не вредить им, как о том говорят древние наставления. Пусть от меня будет какой-нибудь толк, пусть я сделаю прибыток ближним и дальним. К тому же отец отписал мне, что думает о том, чтобы перевести дела в другой город, более богатый и славный. Однако на собрании я почел нужным об этом умолчать. Сознался лишь в своих сомнениях и отсутствии решимости. Против ожидания, меня внимательно выслушали и приободрили. Сказали, чтобы я не грустил, что дело мне обязательно найдется. Я благодарил, но смущение мое не было рассеяно окончательно. Мог ли я ожидать, что уже назавтра меня позовут и попросят – я ничуть не преувеличиваю – попросят моей помощи?

Стараясь не выдать спешкой своего нетерпения, я отправился за посыльным. Путь был недолог и хорошо мне знаком. Но не успел я войти в дом собраний, как меня обуяла неуверенность. Сердце начало биться чуть чаще, лоб накалился жаром. Я сделал лишь один шаг и остановился у самого входа. Света было немного – тускло горевшие светильники находились чересчур далеко друг от друга и выхватывали у темноты отдельные желтые пятна.

Подойди поближе, донеслось с противоположного конца залы. Я подчинился. Передо мною в полумраке расположилось несколько ревнителей – лица их было трудно разобрать. Я скорее почувствовал, чем понял, что здесь есть люди, облеченные немалой властью, но не успел испугаться. Это правда, что вы родом из одного города, спросил низким голосом тот, кто сидел с краю, и назвал хорошо знакомое мне имя. Конечно, отвечал я. Давно ли знаете друг друга? Я младше годами, и потому поступил в учение немногим позже, но с тех пор встречал его почти каждый день до истечения нашей юности, пока он не покинул родные места. Все это время нас вел по дорогам знания...

Меня прервали. Мы знаем больше, чем ты думаешь, поэтому отвечай на вопросы с наивеличайшей точностью и не старайся помочь делу словесными излишествами. Вряд ли ваш наставник, человек, известный своим тщанием и уважением к Закону, мог тебя научить чему-то иному. Я смиренно промолчал. Помимо желания, возникла едкая мысль: знают ли они, что мы еще ходили к одному и тому же ритору, поскольку наши родители сообщали, чтобы помимо Слова нас учили грамматике и философии? Сейчас об этом упоминать не стоило – начиная с моего прибытия сюда, я заметил, что все, почитавшееся внешним по отношению к Закону, было не в чести у здешних ревнителей. Мудрость язычников представлялась им несущественной и даже вредной. Не вызывали интереса и прославленные философы иных земель, известные стойкостью поведения и суждений, часто заплатившие жизнью за верность своим словам и делам. Может ли что достойное придти из-за моря? Пусть другие народы чтят, кого хотят, но разве от них есть чему научиться? В наших торговых краях с давних времен бок о бок жили разноязыкие и разномыслящие, поэтому оба мира старались с грехом пополам ужиться, хотя бы не бодаться в открытую – я привык к этому равновесию

и полагал его за обыденность. Здесь же граница, делившая носителей отличных обычаев, проступала твердо и явственно.

Существовало ли меж вами дружество, была ли близость? Слова проникали в мой слух с трудом, словно через преграду. Я прикрыл глаза, пытаюсь обозначить почтительное раздумье. Худшего вопроса было трудно ожидать. Краткий ответ не мог оказаться к моей выгоде, а подробные рассуждения мне запретили. Мы были дружны и близки настолько, насколько это было дозволено и возможно в нашем возрасте, наконец ответил я.

Человек сначала думает о Боге, а потом о другом человеке, прибавил я еще, и испугался, не ошибся ли, сказав лишнего? Но мой ответ понравился – навстречу двинулась теплая волна довольных голосов. Встреться вы в чужом городе, среди варваров и иноверцев, будет ли он рад? Я вспомнил, что когда-то наши семьи были связаны совместными обязательствами и поручениями. Его отец, вечная ему память, даже имел во время оно дела с моим – один покупал, другой продавал. В памяти всплыла неожиданная картина: встретившись на рынке, отец старшего соученика потрепал меня по волосам, запустил руку в мешок с сушеными фигами и отсыпал целую горсть. Плотных и сладких – такие можно жевать бесконечно. Кажется, ему принадлежала целая лавка. Потом она разорилась, или я ошибаюсь, родные продали ее после его кончины? Это был крупный мужчина с густыми бровями, слегка отвисавшими щеками и прямым носом, совсем не похожий на своего сына, тоже, впрочем, рано облысевший... Почти не лукавя, я сказал: да, он будет рад увидеть меня. Я не чувствовал угрызений совести. И тут же поймал себя на том, что лгу в собрании ревнителей. Как такое могло случиться? Едва не растерявшись от излишних раздумий, я заставил себя выслушать еще один вопрос – и понял, что чем короче будут мои ответы, тем вернее мне поручат... Но что?

Ты знаешь, что твой друг и земляк – не последний из идущих по пути мудрости, доносилось до меня, по-прежнему глухо, словно из-за стены. Знаешь ты и то, что он не один год провел в учении и бдении, что ему мало равных в усердии, и не только лишь на книжном поприще. В отличие от недаленовидных и мягкосердечных братьев, он сразу понял опасность, которую несут отступники, и без промедления вступил в борьбу с ними. Он отличился немалым рвением – это тоже тебе известно. Благодаря его

усилиям, нам удалось вывести на чистую воду тех отщепенцев, что скрывались в здешних местах, и настоять на их изгнании. Они же, несмотря на наши усилия, не уgomонились, и, будучи побуждаемы зловредными демонами, продолжают смущать народ – теперь уже издалека, находясь под защитой чуждых стен и протяженных расстояний. Это не должно спасти преступников от наказания – кара настигнет их везде, где живут слуги единого Бога. Наше радение исполнит неминуемое. Их судьба – быть извергнутыми, проклятыми и забытыми. Хор одобрительных восклицаний раскатился по зале.

Некоторое время назад твой сородич был послан с важным поручением – нанести удар расхитителям Слова, обретшим убежище в некоторых соседних пределах, не настолько близких, чтобы мы могли с легкостью помочь ему в случае надобности, но не слишком дальних, чтобы мы могли пренебречь нашим долгом. Мы не сразу решили, кому по плечу этот труд. И вот он вызвался взять его на себя и предупредить пагубу, которую извратители Закона могли бы нанести общине верных, живущих в том городе с незапамятных времен. Ты уже понял, это – тяжелая работа, и небезопасная.

Мы знаем, что дорога его была непроста, и мы получили известия, что в пути он заболел, возможно, тяжело. Мы имеем сведения, что, несмотря на эти невзгоды, он добрался до места назначения, но не сообщил о своем прибытии нужным людям, а исчез. Сначала он уединился, попросив спутников не тревожить его до окончания болезни, а потом, никого не известив, сменил место жительства. Есть еще кое-какие указания, излишние для тебя, которые побуждают нас к быстрому действию. Но пуще всего мы опасаемся, что он попал в подстроенную отступниками ловушку. Мы не можем придавать этому делу слишком большого значения, но не хотим и бросить твоего друга в беде. Бросить нашего общего брата. В том городе есть немало верных, но они никогда не видели твоего соученика. Мы должны точно узнать, что с ним случилось. Мы готовы обвинить отступников перед властями и добиться расследования, а если понадобится, и казни. Но мы не можем совершить ошибку. Ты знаешь, в нынешнем мире у нас много врагов, жалкие пороки наших прежних властителей привели к тому, что мы подчинены чужой силе и должны сообразовывать свои поступки с заботой о безопасности

посвященных. Осторожность – это не малодушие. Дурно ничего не предпринимать, но еще дурнее поступать необдуманно, ставить под угрозу наших братьев: и в том городе, и здесь, в вечном обиталище святости. Мы боимся, что отступники могут опоить, одурманить твоего друга, заставить говорить не от себя, они могут даже привести пред лицо наместника подставное лицо – нет такого преступления, на которое неспособны отщепенцы, презревшие Закон. Необходимо предупредить опасность, надрезать тетиву в руках зломыслителей, вырвать жало у стрел коварства, разбить кувшин низости.

Теперь ты знаешь, куда лежит твой путь, да будет он удачен и прям. Мы хотим, чтобы ты разыскал нашего брата и подтвердил, что он жив, узнал, где он находится, каково его состояние и здоровье, располагает ли он своей свободой. Те люди, что были с ним в пути – хорошие свидетели, но ты, знавший его долгие годы, будешь еще лучшим.

Я поблагодарил за веру в мои скромные силы и осведомился, когда отправляться. Завтра же, ответили мне, завтра же, с самого раннего утра. Подожди, сейчас тебе отдадут письмо, которое ты вручишь верным по своем прибытии в город. И будь настороже – мы немало знаем о кознях отступников, но, к сожалению, не всё. Не всё. Увы, мы их, кажется, недооценили. Не исключено, им помогают маги и волшебники. Демоны тех краев искушены в чудотворении и чародействе, способном застигнуть врасплох легковерных, обмануть нетвердых. Не пугайся чересчур сильно, тебе будет дана помощь, но не забудь выбросить безрассудство из своего походного мешка. Чужбина – плохое место для дутой отваги. Будь настороже, твори молитвы и да поможет тебе Всевышний.

Я не помню этой дороги. Я думал, что вот, наконец, свершилось: мы окажемся по разные стороны одного стола, мы будем говорить, как равные. Я послан – за ним. Может быть, ему даже понадобится моя помощь. За этой мыслью прошел день, ночь и еще один день. Кажется, я даже ни разу не остановился, не передохнул. Не может быть? Наверно, вот только в памяти ничего не осталось – ни лиц, ни обстоятельств. Так легка была тогда моя голова. Я был горд, я радовался, что оказался нужным и известным ревнителям, что меня выбрали для поручения. Я не мог представить, что с ним могло случиться, и не думал об этом. Все

будет легко, казалось мне, все будет просто, все разрешится к вящей славе Господней.

Вечером третьего дня я въехал в чужеземный город. Следуя полученным указаниям, легко отыскал обширный квартал единоверцев. Назавтра поставил в известность о своем прибытии людей, облеченных властью и сопутствующим ей заботами, после чего без труда нашел тех, кто разделил с моим другом его недавнюю дорогу, последних, кто видел его перед исчезновением. Их было двое, но разговор с ними мне ничего не дал. Спутники моего соученика не владели даром рассказа. Болезнь, говорили они вразной, на него напала болезнь. Он перестал править лошадью, не отвечал на наши вопросы. Только бормотал про себя, непрерывно бормотал. Что, спросил я, что он пытался сказать? На каком языке? Не знаем, нам было не разобрать. Только отдельные слова. «Тяжело, – говорил он не раз, – как тяжело». Позже в галерее меня поймал еще один человек, бывший в том небольшом караване – высохший старый раб без имени, кормивший лошадей и чистивший ослов. Ты пришел за ним, спросил он. Ты друг ему? Да, ответил я. Он бросил на меня испытующий взгляд. Я учился вместе с ним, добавил я, и опять почти не солгал. Он может тебе открыться, сказал раб. Я молчал и ждал продолжения. Он не уверен в сказанных словах, добавил раб, но они послышались ему такими и потому он не может их от меня скрыть. Твой друг раз за разом твердил: «Тяжело удалиться от Господа», – и морщинистый конюх растаял в предвечерней тьме, оставив меня в ошеломлении.

Имена двух-трех горожан, по слухам, сочувствовавших отступникам, были известны верным. Никакой опасности я – безвластный путник – для них не представлял. Стоило попытаться. На следующий день я обошел все указанные мне дома и везде повторял одни и те же слова. Иногда хозяева не показывались для разговора со мной, высылая детей или слуг. Но я этим не смущался. Пусть знают, мне скрывать нечего. Я не темнил: говорил, что он – мой земляк и давний друг, да, я знаю, с ним в дороге приключилась болезнь, и хотел бы убедиться в его здравии. Больше мне ничего не нужно, клянусь. Конечно, я готов свидеться с ним на любых условиях. Меня выслушивали и ничего не обещали. Двери закрывались, пологи задергивались. Я понимал, что придется ждать. Два дня спустя меня отыскал юноша в чистом, но бедном хитоне и передал письмо. «Слушайся его», – стояло там. Тут я по-

нял, что впервые вижу слова, написанные его рукой, но притворился, будто внимательно изучаю почерк, а потом неторопливо кивнул посланцу. Он забрал письмо, спрятал его в рукаве и вывел меня на рыночную площадь. Мы прижались к стене, изъеденной густыми трещинами. Спугнутые нами мелкие ящерики скрылись в глиняных разломах. «Прости, достойнейший», – юноша достал из рукава обширный платок. Я подчинился.

Он завязал мне глаза, заставил несколько раз повернуться на месте и всунул в руки конец шершавой веревки. Затем быстро провел меня через гудевшую всеми наречиями толпу – я чуть не бежал, опасаясь потерять своего вожатого. Вскоре мы, судя по потерявшемуся шуму, углубились в каменные улицы, сначала сухие и жаркие, а потом задышавшие пузырячатой сыростью. Несколько раз мне приходилось нагибаться и приседать, я задевал плечами узкие проемы. Вскоре я почувствовал, что солнце исчезло, потолки стали низкими – меня вели тайными ходами, но это продолжалось недолго. Мы остановились. Невидимые руки сняли платок, и я услышал звук закрывающегося засова. Когда глаза привыкли к полумраку, то я увидел, что напротив меня находится низкий стол, за которым полулежит человек, которого я искал. Лоб его стягивала белая повязка, и лицо, показалось мне, сильно заострилось. Да, он болен, он изменился. Но ведь я давно его не видел: с той самой казни отступника, когда мы вместе, я мысленно употребил это слово, и опять почти не солгал – *вместе* охраняли одежды ревнителей. Он приподнялся мне навстречу и жестом предложил садиться.

Приветствую тебя, земляк, сказал больной, и улыбнулся полужнакомым лицом. И, не дожидаясь ответа, продолжил: я был уверен, что они пришлют тебя. И ты знаешь, я рад тому, как все вышло. Нет, не тому, что я угадал, хотя и этому тоже. И нет, я не тешусь тем, что кто-то из вас сможет меня понять или, тем более, оправдать. Но в отношении тебя у меня все-таки есть надежда – в отличие от остальных, ты мне не чужой. Пусть ты станешь свидетелем, если не моей правды, то хотя бы моей искренности. Но ведь правда не может принадлежать кому-либо из живущих, не так ли? Слушай же. И хотя я знаю, что через час-другой ты выйдешь из этого дома, не оглядываясь, что обстучишь пороги и косяки, стараясь забыть о моем существовании, но иного пути нет.

Ты знаешь, я всегда был хорошим учеником. Даже лучшим. Именно учеником – я ничего не мог создать сам, сказать от себя.

Разобрать и прокомментировать – легче легкого, и с годами это удается все проще и проще. Но что дальше? Бесплодная стена, глухая и высохшая от солнца – вот куда привели меня мои познания. Ты ведь тоже такой, не правда ли? Я мучился этим, я успокаивал свою совесть – говорить от себя ничего и не нужно, надо только учиться и толковать, объяснять, применять. Что может быть прекраснее слов, спустившихся с неба? Все уже сказано, все уже дано Всевышним, остается лишь исполнять Его повеления как можно лучше. Следовать – и спастись. Но почему, спрашивал я себя, почему тогда мы не можем ничего исполнить, несмотря на все наше учение. Чем праведнее мы на словах, тем несчастнее на деле. Нет, не спорь, твое время еще придет, а сейчас – мой черед. И я знаю, что ты хочешь сказать.

Обладатель Непроизносимого Имени ежедневно показывает тщету наших усилий – мы живем в притеснении, в утяжеленном оброке, в двойных тяготах: от своих властей и от чужеземных. Что делать – еще лучше учиться, еще лучше объяснять? Но ведь нас с тобой, слава родителям, не жалевших денег на наше воспитание, вели и по другому пути мудрости. Нам объясняли законы рассуждения и логики, нас учили играть словами, правильно их расставлять, нам показывали, сколь значимым может быть нужное слово в нужном месте, сколь оно может быть, не побоюсь сказать, красивым и проникновенным. Но эти прочно сцепленные, гордые своим порядком и благозвучностью слова, якобы способные предсказать будущее, тоже никак не меняли настоящее. Хотя замечу, жители нашего города, сочетавшие здравый смысл с твердостью речи, имели больше защиты от того вреда, что здесь и рядом наносят властители этого мира. И те из них, что были чужды Закона, могли при надобности искусно сплотиться стеной, соединить желания и не унижаться перед носителями имперских значков. Умелое подчинение – гораздо более грозное оружие, нежели яростный и обреченный бунт. Скажу даже, отстоять себя и своих близких у них получалось лучше, чем у тех, кто при каждом шаге оглядывался на предписания Слова. Но логика, обвенчанная с честью, тоже бывала действительна отнюдь не всегда. Слишком часто грубая сила могла их с легкостью растоптать и отбросить, выставить напоказ плоскую беспомощность их носителей, связать языки и заткнуть уши.

В любом случае, вышло так, что, начиная с самой зари жизни, я, ты, мы видели обе стороны знания, и обе они оказались недостаточны, обе зависели от давних преданий, сказанных и записанных кем-то в незапамятные времена. И я скажу тебе, в чем был их главный изъян – в несовместности с окружающим, в несоответствии тому, что я видел своими глазами, выйдя за пределы школьного двора. Жизнь людская не становилась лучше от этих слов, мудрых и прекрасных, – то ли потому, что они оставались собственностью немногих, то ли потому, что никогда не могли проникнуть в души обыкновенных людей, тех, кто не посвятил долгие годы обучению грамматическим фокусам и тайным играм буквенных аналогий. Тысячи людей вокруг нас жили и умирали помимо этих слов, не зная и не желая знать мудрости веков, а были ли их жизнь и смерть хуже, лучше наших? Те герои и праведники, что почитаются за образец знатоками философии или слугами Закона, неужели они попросту поступали по написанному, и ничего более? Выходили к народу, шли на бой и казнь, сверившись с начертаниями старинных свитков и уверившись в своей правоте? Или их вело по пути долга нечто иное? Что же?

Ты знаешь, я уехал из родного города в отчаянии, я утратил путь, не успев на него вступить. Я понял, что наши с тобой учителя не сумеют рассеять мои сомнения, что я взял от них все, что мог, все, чем они владели. Я думал направиться на юг, но слишком много дурного слышал я о великом городе в тех пределах, и не видел, чем тамошние философы и исправители древних рукописей могли бы мне помочь. Они были такими же комментаторами, пусть более опытными и знающими, чем я. Зачем гнаться за ними – чтобы через десять лет уподобиться сноровистым начетчикам, наполняющим залы учения? Стать искусным торговцем чужими мыслями? Если на земле есть ущелье, ведущее в царство истины, то дорога в него идет из города, отмеченного Всевышним, а не построенного царями. Оттого я стремился прикоснуться к самому сердцу мудрости, я хотел услышать самых знающих, самых тонких знатоков Божьего Слова. Да что я тебя убеждаю – ты ведь сделал то же самое.

Я молчал. Как хотелось сказать ему, что это его отъезд так подействовал на меня, что направил разношерстную иноходь моих помыслов в одну сторону, что это его я тщился догнать, с ним хотел сравняться, что никогда бы мне в голову не пришло

бросить родину, не сделай он этого первым. Как хотелось это от него утаить!

Да, люди высокого священства знали больше нашего учителя, продолжал он, и могли объяснить многое. Не одно тайное слово стало мне понятным, пройдя через их уста. Но главного не знали и они – почему мы никак не можем соблюсти Закон, а ведь ему уже столько лет? И какова должна быть наша цель: истолковать всё до самой последней буквы, разъяснить все древние тексты? Но ведь на это не хватит и целой жизни, да что я, сотен, тысяч жизней не хватит. И люди – скольким из них нужны эти разъяснения, истолкования? Признай же, совсем немногим. Но как тогда научить их слушать слово предписаний, как объяснить их смысл?

И почему, настаивал мой друг, или правильнее сказать, бывший друг, или еще честнее: никогда не бывший моим другом, – почему, несмотря на равнодушие большинства, раз за разом среди нас появляются отступники? Да, цари часто грешат и идут на поклон к идолам. Но не стоит обманываться и причитать, мы хорошо знаем, что их помазание уже давно ложно. Здесь все очевидно – они желают извлечь из отступничества пользу для своего мелкого тщеславия и протратившейся казны. Пути власти далеки от дорог праведности. Я даже не беру этих несчастных в расчет. Но как быть с простыми людьми – неужели они столь подвластны греху, что готовы идти за первым же, кто пообещает им облегчение, послабление, меньшее осуждение пороков и недомыслий, свойственных человеку от Сотворения Мира? Тогда значит, правы учителя – и лишь лучшее объяснение Божьих заветов сможет уберечь людей от следования ложным путям. Но как совместить это с тем, что глубокое знание доступно лишь немногим? Как совместить веру лишь в самые основы, или, наоборот, в самое поверхностное объяснение Божественных слов с тем, что они должны стать доступны всем?

Я не знал ответов на свои вопросы, но мне стало ясно, что наши главные враги – те, кто пользуются уязвимостью и незнанием слабых, кто сбивает их с пути, и без того сложного и почти неодолимого. И я бросился помогать ревнителям в их борьбе с отступниками. Я был рад – наконец-то я нашел себе применение, я разыскивал тех, кто отложился от истины, вступал с ними в споры и все время побеждал – ведь почти никто не мог сравниться со мной в знании Слова и Закона. Но с каждой победой

я чувствовал: мое сердце, недавно столь полное радости и веры в нашу правоту, опустошается. Я не знал, почему. Казалось бы беспричинно, я погружался во тьму. Проникался страшной мыслью – я делаю что-то неверное. Может это соблазн, думал я, меня искушает коварный бес? Я убеждал себя: все дело в упорстве этих темных крестьян (хотя среди них были и горожане, и грамотные). Загнанные в угол моими доводами, они продолжали стоять на своем, не отрекались, не возвращались в лоно верных, просто молчали и молились. Наши споры стихали – и я не понимал, зачем, кому нужна была моя победа, одержанная по всем правилам риторического искусства? И если их затем уводила следовавшая за мной стража, было еще хуже. Победенные и прилюдно опозоренные, они переставали быть таковыми, как только на них налагали узы, по крайней мере, в моих глазах.

Ведь не легкой жизни искали они, всеми гонимые, преследуемые, убиваемые, принимавшие в свою среду отверженных и бесправных, смердящих и убогих. Им не нужны были яркоглазые истуканы чужеземцев, раскрашенные идола, несущие богатство и облегчение жизненных тягот. Ты ведь знаешь таких людей с дешевой душой, детей мамоны – они не опасны, а презренны. С ними не о чем спорить, и ревнители правильно делают, что не боятся их. Нет, здесь другое. Тот отступник, которого побили камнями – он же не сопротивлялся, он молчал. О, как я его тогда ненавидел! Как желал скорой и жестокой расправы! Немалых усилий стоило мне не броситься на помощь тем, кто тащил его на Камень Позора. Но нет, кто-то помешал мне, я уже сделал первый шаг, ты помнишь, ты был рядом, я и сейчас вижу этот миг, вижу тебя, я запомнил на всю жизнь, кто-то словно сказал мне: постой, не спеши, не двигайся. И все равно, как я желал испепелить покорного смертника, сколько камней обрушил на него в своем пылающем воображении! С какой радостью я принял на себя новое поручение: приехать сюда, разыскать общину отступников и настоять на том, чтобы ее изгнали еще дальше, за горы, в самую пустыню. Захотят спорить прилюдно – целью моей было одолеть их при всем народе, как уже часто удавалось, и унижить, сколь возможно. Я и не подозревал, что во мне таится столько гневной ярости, я был ею опален.

Дорога способствует размышлениям. Я вдруг задумался: а хороши ли чувства, которыми я живу, которыми питаюсь? К чему привело меня желание познать Слово как можно глубже,

исполнить Закон как можно точнее? К ненависти, к злобе. Ненависти – и здесь я признался себе – к беззащитным, к тем, кто не мог победить, даже если бы одолел меня в словопрениях, которым бы никто не дал взять верх и воспользоваться плодами такой победы? И пророки, прорезалось у меня в голове, вспомни, кого из пророков мы славим, кого послушали? Не видели ли они от нас лишь нож и камень? Не так ли умирали, как тот несчастный? Не столь же ревностно гнали наши предки тех, кто возглашал им Высшую Волю – и многожды? Не впадал ли не раз весь народ в грех и блуд, несмотря на Закон, уже данный, уже запечатленный? А вдруг все, чему я следовал эти годы – ложь? – возникло у меня в голове. Вдруг наше учение ведет не к Богу, а от Него?

Словно удар пронизал меня – от тмени и по всему хребту. Я отпустил поводья. Наверно, моя кляча закружилась на месте. Мне было все равно – я не помню, что происходило вокруг. Спроси меня, где это было, когда... Смутно выплывают лица моих спутников, с тревогой хватающих под уздцы лошадь, пытающихся что-то сказать, докричаться... Ужас охватил меня, ужас перед гневом Сильного. Я понял, что неграмотные простецы оказались ближе к исполнению Закона, чем я, чем мы все. И что, еще страшнее, между нами есть стена, та самая, бесплодная и сухая с нашей стороны, и если мы заблуждаемся, то, значит, правы они. Я понял, что ненависть моя – есть зависть к ним, знающим то, что не могли мне дать ни книги, ни самые лучшие учителя. Не проси меня обосновать это логически, но я все равно, что прозрел, и с той поры мои мысли остановились. Или нет, они пока ходят по кругу, но он все шире, и какие-то крохи просветления уже копошатся в моей голове. Я еще не знаю, но уже чувствую. Надо все изменить. Путь должен быть другим. Книжность не дает благодати, она помогает жить, но ничего не решает. Она не вредна, ее можно обернуть на пользу людям, и потому я не стыжусь того, что стремился проникнуть в ее глубины, но сама по себе – она ничто. Безжизненная изгородь, лишенная даже единой взбегающей по ней травинки.

Мои подручные, он усмехнулся, решили, что я ослеп, что не могу править лошадью – да, наверно, мои глаза казались им пустыми. Они думали, что помогают мне добраться до города, говорили вполголоса о моей неожиданной болезни. А я поначалу хотел сбежать от них, скрыться в самом голом клочке придорож-

ной пустыни, заползти в какую-нибудь змеиную нору и умереть от отчаяния. Но я ничего не сделал и позволял им вести меня. И вот, наконец, мы прибыли сюда, и тут я понял, как мне следует поступить. В суете рыночной площади я улизнул от заботливых водителей и пробрался сюда. Не спрашивай о подробностях – я достаточно общался с теми, кого вы кличете отступниками, чтобы знать нужные слова и называть необходимые имена.

Поначалу, вздохнул он и на мгновение остановился, мне не верили. Конечно, я бы мог выдать себя за кого-то другого, но обман противен Всевышнему. К моему удивлению, они, в конце концов, решились приютить бывшего врага. Я не просил много, только возможности переждать месяц-другой и по возможности никого не видеть. Сказать по правде, я еще не знаю, что предпринять. Может быть, все-таки двинусь на юг, может быть, останусь здесь, или даже вернусь в наш родной город. Нет, неверно – я не знаю лишь, что именно я должен сделать, и не понял толком, что со мной произошло. Только ясно вижу, что возврата нет, что ревнителю стали мне противны, и что, после того, как ты им все расскажешь, я тоже буду проклят и причислен к отступникам и врагам Слова.

Но я ничего не могу поделать – и не хотел бы. Впервые за много лет я чувствую, что нахожусь там, где нужно, что все мое предыдущее учение, быть может, окажется не бесполезно, если я, наконец, сумею понять, как и зачем мне его необходимо применить. Что с меня спросится? Для чего я рожден? Зачем на мою душу упало это прозрение? Почему сейчас? Я бежал – куда? Нет, важнее – куда идти теперь, ибо покой, передышка – это временно. Главное – не ошибиться, больше не ошибиться. Бога нельзя увидеть, но возможно встать на тропу, ведущую к нему. Где она? Я не знаю. Пока – не знаю.

Ты смотришь на меня с состраданием, Ты думаешь, я сошел с ума, в меня вселился демон – что ж, я не ожидал другого. Но все-таки попытайся запомнить, что я тебе сказал, спроси себя, чего от нас хочет Всевышний: правоты или милости? И может ли быть, что он дал свой Закон только нам одним? И если нет, если Он, как мы с тобой, наверно, оба думаем, царит над всей вселенной, то как можем мы наилучшим образом исполнить Его повеления, Его заветы? Удаляясь от остальных жителей этого мира, все резче, все шире проводя границу между собой и другими, охраняя ее все более ревностно и безоглядно?

Спроси себя, зачем Он создал варваров, зачем сотворил сонмы завоевателей, ныне правящих нами? И в чем наша обязанность перед Единым – сопротивляться, встать на защиту земли и веры отцов, вытравить всех, мешающих этому сопротивлению, и биться до последнего человека? Или мы должны победить, а не умереть? А если умирать: тогда не так ли, как тот отступник, как тот праведник, превозмогший своих палачей – всех нас? Мученичество сильнее мучителей – слышал ли ты такие слова? Можно ли одолеть мириады врагов с помощью одного только кованого железа? Нет, не металлом должны быть крепки мы, но тем, что тверже металла. Не одолеть расселину тому, кто пришпоривает своего жеребца бестрепетной ненавистью – его ждет овраг, а не полет. Преследование посмевших возражать собранию, перечить старейшинам, – не свидетельствует ли оно, что мы вдвойне слабы и неуверенны? Чти Господа Бога своего – да, это самая важная заповедь, но чем должно воистину почтить Его?

Я смотрю на тебя и вижу, продолжал он, что мне давно пора замолкнуть, что я излил на тебя слишком много. Не сердись и прости, если можешь. Я наверно теперь еще долго не буду говорить ни с кем, кто бы мог меня понять, пусть лишь отчасти. Не знаю даже, суждено ли мне снова возвышать голос перед равными. Я теряю веру в слова – хотя нет, писаное слово, будь оно вдохновенно, может сотворить чудеса. Ведь над ним размышляют многие поколения. Только даром такого слова я не владею. Что поделать! Я бы променял на него все свое красноречие.

Он вздохнул. Но попробуй поверить, что демона здесь нет. Я понял, что много лет блуждал, что бежал не к истине, а от нее, что карабкался на холм без единого деревца. От спесивой гордости все большего знания, все большего риторического мастерства я стремился к тщеславному желанию применить эти искусства, к низкой страсти пожать плоды своих талантов, к тому, чтобы стать частью того великого дерева, которое мы называем Законом.

Нет, он резко взмахнул рукой, не говори мне, что можно разочароваться в людях, блюдущих Закон, но не в нем самом. Я знаю не хуже тебя – Закон свят. Но если все люди, так кичащиеся исполнением заветов, одновременно столь лицемерны, значит, нам чего-то не хватает. Закон не плох – Закон недостаточен. Не меньшего от нас требует Бог, а большего. Наша ноша будет становиться только тяжелее. Истинная дорога труднее ложной, она

не оставляет выбора вступившему на нее.

Он перевел дух. Теперь – иди. Я сказал тебе много больше, нежели собирался. Иди, и да пребудет с тобой благословение Всевышнего. И, привстав, промолвил слова, что еще час назад были бы для меня самыми драгоценными: никого бы я не хотел сегодня увидеть более тебя, друг и земляк мой. И добавил: а теперь прощай.

Мне завязали глаза и снова повели влажными от сырости ходами и узкими улицами. Вскоре я почувствовал солнечный свет. Повязку сняли. Не оборачиваясь, я пошел вперед и скоро очутился на рыночной площади. Я понял, что здесь мне некому и незачем рассказывать о случившемся. Мысли метались. Тайком я добрался до стойла, отвязал лошадь. Чтобы меня не стали искать, нацарапал короткую записку и отдал ее подвернувшемуся в проулке мальчишке. Монет в поясе было достаточно. Набрал на рынке воды и запасшись провизией, я двинулся к городским воротам.

Необходимо все время спрашивать себя, вдруг вспомнил я его слова, зачем ты делаешь то или это, куда влечет тебя, какие чувства правят тобой? В десятый раз я проверил свое решение. Да, повторил я себе, здесь ничего нельзя сделать, я должен как можно скорее передать ревнителям наш разговор, услышать их успокоение, разъяснение, совместно вознести молебен за исцеление заблудшей души. И вдруг в кипучей толпе, бурлившей, кричавшей и грязной, я понял, что ничего этого не будет, что я остался совсем один, что никто не ответит на горячие потоки вопросов, густыми пузырьками лопавшихся у меня в голове, что я опять, едва догнав, потерял его и теперь уже навсегда утратил. И что одного лишь могу жаждать – того, чтобы эта утрата была не вечной, и не потому ли стремлюсь на пыльную дорогу, недавно промелькнувшую передо мной песчаной пустотой, пролетевшую без единой жестокой думы, что там, где-то посередине пути, моего земляка, собеседника и соученика обуял страх Господень. И не может ли нечто открыться и мне, недостойному и скудоумному, в тех самых пятнистых от бедной растительности холмах? Если буду внимателен и неотступен, если смогу спросить себя так же беспощадно, как он. Но о чем?

Преодолевая людской поток, я выбрался за ворота. Передо мной расстилалась обратная дорога – не такой уж долгий, и не

такой уж прямой путь из Дамаска в Иерусалим. Я не знал, что он мне принесет. «Парить или кануть, – вспомнил я, – парить или кануть...»

Лошадь шла медленно, бережно переставляя копыта, как будто ей предстоял заведомо утомительный подъем на крутой перевал. Я спешился. Отчего-то мне не хотелось никуда торопиться. Ноги словно налились свинцом. «...Удалиться от Господа, – подумал я, – удалиться от Господа. Что он хотел сказать этими словами? Я его так и не спросил, а теперь поздно». Голова горела, если бы ты знал, Феофил, как горела тогда моя голова.

***Петр Ильинский** родился в Ленинграде, окончил биологический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, работал в Гарвардском университете. Автор книг «Перемена цвета», «Легенда о Вавилоне» и других. Живет в Кембридже (США).*

ПОСВЯЩЕНИЯ

принадлежности

Ольге Гришиной

Глаза привыкнут: здесь, в углу, верстак,
там, на юпитре, горстка нон и терций, –
вот интерьер Вермеера. Итак –
благоухают скипидар и лак,
на взводе книги, полные сентенций.

Войдя, сдержи свой первый дерзкий шаг.
Входящие, предшествуемы всеми,
здесь с должным опозданием совершат
открытие: хронометры – спешат,
и тишина заносчива, как время.

Не потому ль оснащено жилье
устройствами из дерева и меди,
и спит в стопе крахмальное белье,
и не хватает карты?.. – Но ее
уже подвозят на велосипеде.

чужие здесь не ходят

Леониду Шварцману

Чужие здесь не ходят
и в окна не стучат,
и через реку в холод
«эй, лодка!» – не кричат.

Пройдет случайный катер –
и снова тишина.
Тот берег на закате
недвижен – дотемна.

Там оголенным строем
деревья у воды
по двое и по трое
ждут выхода звезды.

Там в лодке перевозчик
спит. Ватник в масле весь.
И сон его – как прочерк,
он в воздухе, как взвесь.

Тумана зябкий тремор,
песка последний свет...
Пусть перевозчик дремлет,
с запасом подогрет,

раз на сегодня, вроде,
не знать ему труда:
чужие здесь не ходят,
им незачем сюда.

обжиг

Татьяне Васильевой

к вечеру все ноет ни встать ни лечь
стоит понять что мы тоже знать
чтобы эту глину обжечь обжечь
надо неделю не спать не спать

избраны для масла зерна и вин
вазы незрелые сохнут в ряд
косточки горьких горьких маслин
жарче горят ровней горят

устье печи побеждает мрак
пламя источник полночных чар
есть на стене потаенный знак
здесь когда-то правил другой гончар

вот его герб разъяренный лев
вроде бы с человеческим лицом
буквы непонятны распахнут зев
может быть для спора с самим творцом

это начинается не вчера
помнишь как вылеплен был Адам
вот ремесло ремесло гончара
я его никому не отдам

дважды в огонь и течет лазурь
преображаясь меняют вид
охра и кобальт кармин лазурь
чуть постучи от ногтя звенит

горе подумаешь сбросил разбил
хрупкое дело судьба проста
тот кто воистину не любил
тот и не вылепит ни черта

если рука не умеет ласкать
нежностью выглаживать материал
то гончаром не сумеешь стать
кем бы ты здесь отродясь ни стал

это мастерская не храм не суд
круг инструменты и глины пласт
те кто любил тебя тоже уйдут
только глина одна не предаст

Retama raetam

Александрю Бронштейну

Глядеть в огонь, тебе глядеть в огонь,
тебе глядеть в огонь – а значит, надо
тебе в огонь глядеть.
Вернись нескоро –
живучий уголь долгих корневищ,
что доставляет ротем бедуинам,
всё тлеет. Так же тлеет уголь мозга,
и еле видный пламень пробегает
над пепельной поверхностью кострища.
Грядет не огонь, не ветер и не трус,
но голос тихий, вряд ли различимый –
к нему прислушайся.
И долго тлеет уголь.

Марсий

Состязаться с богами – накладно:
За попытки освоить свирель
Столько смертных платило наглядно –
Кто ушами, кто кожей своей...

Ты уже обречен провалиться
И всю жизнь продудеть за так –
Но и содранная, шевелится
Эта кожа музыке в такт.

Рафаэль Шустерович родился в Подмосковье, окончил Саратовский университет, публиковался в журналах «Волга», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки», «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Зинзивер» и других изданиях. Живет в городе Ришон-ле-Цион (Израиль).

Ольга ПУССИНЕН

* * *

М.

Полукровки, метисы, разблуды,
Два в одном, а частенько и три.
На пиру лишь окрошка нам блюдом, –
Ешь да пей, да назад не смотри!

Разбросало по миру скитальцев –
Грошик счастья, алтыном беда.
А по жилам до кончиков пальцев
Знай гудит Золотая Орда.

И кровавое солнце садится
Над рязанским узорным крыльцом:
Уж мордовская кобылица
Под татарским хрипит жеребцом.

Ах ты, ханское черное племя! –
Повенчались с тобой под кустом.
Зацепилось Батыево семя,
Проросло чербецовым листом.

Расцвело на исходе июля,
Проползя меж пшеницы и ржи,
В захмелевшем медовом разгуле
Уродилось вадря* и якши**.

* Хороший (морд).

** Хороший (татар).

Зарычали над сахарной костью
Волчья сыть да медвежий завал,
Завалились непрошенным гостем
На чухонский чужой сеновал.

И с угрюмой лесною любовью
Сторожат своих финских зверят,
Что, молочной разбавлены кровью,
Все по-русски у них говорят.

* * *

Уж полночь близится, а Германа все нет...
Напрасно ждете Вы его, Елизавета,
И сотовый Вам не дает ответа, –
Вне доступа сегодня абонент.

За шторой – петербургская метель,
В пяти шагах не различить друг друга.
Мосты разведены, и только вьюга,
И только вьюга стелит нам постель.

Ноябрьский снег дороги заметает, –
Не будет ни рассвета, ни зари,
И Германа путей никто не знает.
Куда ж теперь звонить, – ноль два, ноль три?

Присядем, Лиза, тихо в уголку
И под пурги суровой завыванья
Подумаем, – какие на веку
Судьба еще готовит испытанья?

Играя роль в статистах и массовке,
Нам большего достигнуть не дано...
Но что болтал там Томский на тусовке? –
Что в городе закрыли казино.

Поставим же скорее на зеро! –
Не устрашат нас Пиковые дамы,
Мы знаем наизусть сюжет той драмы
И обойдем нам заданный урок.

Козырного червонного туза,
Чтоб не обдернуться, мы в рукаве запрячем,
И счастье станет не слепым, а зрячим,
И Герман к Вам воротится назад!

Он едет, едет, – снег из-под копыт,
Из-под колес кредитной новой «бэхи»,
И хоть от виски тяжелеют веки,
Но саквояж купюрами набит.

Он в смокинге, с букетом белых роз!
Визжит резина летняя в буране,
И жизнь на этот раз нас не обманет!..
От белых мух смешно наморщив нос,

Под перебор усталых матерков
Гаец в советском дымчатом тулупе,
Прищурясь, пишет протокол о трупe,
Скончавшемся «от шейных позвонков».

Без десяти двенадцать. Букли сняв,
Графиня мирно спит в своей кровати.
И хватит, хватит, этой ночи хватит
На ожиданье завтрашнего дня.

Ольга Пуссинен родилась в Мордовии, окончила Московский университет, защитила кандидатскую диссертацию в Петербургском университете («Концепция человека в творчестве Иво Андрича»), докторант Хельсинкского университета. Участник Объединения русскоязычных писателей Финляндии, главный редактор журнала «Иные берега». Живет в Хельсинки.

Сергей ПИЧУГИН

ПОЭТ

...На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Александр Пушкин

Кто музы твои, от пенат совершивший побег
избранник отечества, жрец аполлоновой страсти?
Увядшей листвою просодий осыпался век,
купальнями мраморных статуй, их ног и запястий.

На мокром песке ты пророчества пишешь прутом,
горением сведённый с ума, как замоленный инок.
Всемирная жизнь – муравейник, кипящий трудом,
в тревожное небо растёт вавилоном хвоинок.

Объятый огнём и цифирями древний дракон,
пронзённый Георгием, чудо в волнуемом мире,
алмазным пророческим даром шута окрылён,
ночами ты пробуешь струны на краденой лире.

Жемчужины звука, фонемы алеющий зов,
улитка пространства и слуха младенческий хрящик
растут в человеческом ливне родных голосов,
свежая колодцами гласных, листвою шипящих.

Ты черпаешь тающий звук, и волнение скул
сужается искоркой в чёрном зрачке игуаны.
И ночью за тысячи миль обонянем акул
ты чувствуешь слово, как каплю крови в океане.

Солёные судьбы, великое множество лиц
стоят, озаренъем оттиснуты у изголовья.
А кипы ночами исписанных, волглых страниц
запятнаны болью и радостью, тьмою и кровью.

Во льдах семикнижий, над стаей чернеющих нот
небесной цыганкой поёт негасимая флейта.
Израненный воздух рассветных библейских длиннот
сияет скрижалями в тайном ковчеге Завета.

Из дарохранилищ ночи – заветная вязь –
горячий клавиш! небеса поднимаются выше!
А утром, живой океанской водой осенясь,
мы с грохотом сдвинем столы поэтических пиршеств.

Сокол

Приму могучий холод, веющий с Востока,
покой зелёных рек и чистоту ключей,
дыхание любви – и в световом потоке
как сокола, несущего молчанье на плече.

Ты шелестишь навстречу, охотник и добыча,
черней вороньих крыл, не силах онеметь
во мне, нежнейший плен преобразить в обычай...
Но ты отводишь взгляд, как Бог отводит смерть.

И я умру в тебе. Победой окрылённый,
мой сокол улетит в зенит алмазной тьмы.
Грядёт Иммануил любовью воплощённой
обнять тебя, мой вероломный мир.

Преодолеть границы сна и яви,
зажечь молитву сполохом кудрявым –
и отвести беду в пророческом кругу.

Воители небесной обороны –
в ветшающей тени древесной кроны
монахи дремлют на озёрном берегу.

Преображённая великой схимой,
спокойна гладь воды непобедимой
страницей тёмных книг, хранящих праязык.

И в бабочку живую обратится
мудрец, который бабочке приснится.
И бабочка крылом коснётся Лао-Цзы.

Индиго

Мы выбраны во сне. Искрит огниво
меж ангелом и зверем. До седьмых
колен вставать с земли. А до прилива –
сухие ливни голосеменных.

Мы – свет и тьма. Тревожа лунным
босым лучом, являемся земле
таёжным срубом, утренней Солунью,
заглавицею, белкой на стволе.

Промыты перекаты. Речью вровень,
мы крещены в холодной правоте.
И веют письменами тихой крови
кирилловы беседы на воде.

* * *

Голосами воздуха и света
хвойный лес поёт, высок и мшист.
Небеса тропинкой огнецвета
опустили бережный батист.

Спящие гранитные знакомцы,
оспины лишайников, в огне –
ангелы и реющего солнца
вечный столп, стоящий в тишине.

С драгоценным мальчиком мудрая,
как отвесный ливень, многолик,
взяв плащом сверкающие струи,
водопад уходит, как старик.

* * *

Я в эти дни изнеженных июлей
входил, как в прорубь, как в пчелиный улей,
как в нелюдимую крапиву у пруда.

Я чувствовал, как непреодолимо
меня сосёт губами сонной глины
давнишний холодок – минувшая беда.

И будущее с памятью боролось
огнём, как с тишиной – растущий голос,
как в полночи горят сухие вороха.

Я помню, как однажды на рассвете
погоней загудел полынный ветер,
и в небе варвара проснулся зверь стиха.

Страшней египетских напастей
Валгаллы разделённый кров.
Горит в тебе, силками страсти
как птица, пойманная кровь.

Когда в стремлении упорном
ты обживаешь высоту,
в тебе поёт охрипшим горлом
как птица, пуля на лету.
В небесной яме, обескрылев,
летит над полем васильков
прошитый птицами навывлет
звонарь в поводьях языков.

Мы – небом узнанные дети,
когда иные видим сны,
и мы прекрасны после смерти,
когда врагом озарены.

Наш спелый сон не потревожит
его прозрачная рука,
и наша смерть ему поможет
найти любовь, как светляка.

Отшельник

Зреет заговор в недрах воды, одичалый табун –
рьяных вихрей встаёт на дыбы в мировой круговерти
И накопленным гневом разит побережье тайфун,
и тобой расточается грань между жизнью и смертью.

Ты в затворе, в избушке заснеженной стал миражом,
и с волками ты дружен. Воздушный апостол распада,
ты аортой живешь на разрыв, и как свет, поражён
истончёнными стрелами тьмы, из орудий досады.

Как чужая расправа, ты скор и, как мир, многолик.
Хочешь имя своё удалить из рядов легиона.
В эту ночь, как под нож, запрокинешь ты к небу кадкы,
точно воющий волк при луне, в пору нежного гона.

Корабельные сосны стоят парусами в снегу.
Когти лунной неясности правят в крови человека.
Но заветный псалом оживёт в шевелении губ,
и в молчании троп, и в смиренном свечении снега.

Как дойти до сыновней любви, до горячей слезы?
Здесь должна быть звезда, но молчит её небо, чернея.
И хоть короток век и так сух чернозема язык –
дышит верное слово в тебе, как младенец во чреве.

В чистый свет босиком уходя, за собой оборви
нити тайных огней и погонь. Только звуком тревожным
слышишь пенье железа морозом в горячей крови –
это плач вековой, точно меч опускается в ножны.

Лишь до самых глубин нашу вечную слабость простить –
волчьей ямы коснётся десница Господнего гнева.
И на взмах дирижёрской руки, у распада в горсти
симфонический лес поднимает упрямые эфы.

Сергей Пичугин родился на Кубани, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, автор книг «Родники времени», «Колыбель», «Выбор» и других, лауреат нескольких литературных премий, организатор Международного поэтического фестиваля «Балтийская строфа». Живет в Риге.

Ольга ГРИШИНА

* * *

Туман поднимается – темный, тягучий, густой,
Смывая пустые леса и пустые дороги.
Не знаю, смогу ли поладить с такой пустотой.
Глухой и безглазый, немотствует день на пороге.

Ты хочешь, чтоб я говорила с тобою – изволь.
Вопросов с лихвой за пределами этого круга.
Зачем мы придумали эту прекрасную боль?
За чем мы с тобою так страстно не любим друг друга?

Зачем так жестоко, так зло мы покорны судьбе,
На ощупь дорогу держа по расставленным вехам?
Зачем ты никак не даешь мне забыть о тебе?

... и небо пустое пустым откликается эхом.

Золотко

Уж мы такие с тобой самородки.
Уж такие стреляные пострелы.
Я пекусь, что рыба на сковородке,
Глянь, душа по краешку обгорела.

А в окне опять кружевная замять.
Думала, остыну – да дело гибло.
Подарить бы строчку тебе на память.
Ан и память, видно, отшибло.

А любить мне, милый, тебя накладно.
Знаю, знаю, где там у пчелки жалко.
Прикипела душенькой – вот и ладно.
Отрывайте с мясом, кому не жалко.

И сгорю, как всё догорит на свете,
На твоём огне. Ты ж моя зазноба.
А вчера, казалось, горели оба.
Золотко мое... самоварной меди.

Серая шейка

Ю.Г.

Я-то, верно, ослепла, но ты на меня погляди,
Человечек из пепла с оранжевым сердцем в груди,
Всю рябину из уст расклевали твои снегири,
Воздух горек и густ, ты уж лишнего в долг не бери.

Подыши на стекло – вдруг оттаю, слезой изойду,
Белоснежную стаю увидишь на черном пруду,
Разберешь на снежки, на ромашки нахохленных выюг,
Упакуем в мешки да с рассветом отчалим на юг.

Клекоча оголтело, раздвинем лихие крыла,
Это ж, Господи, тело, душа из другого стекла,
Это всё оттого, что в глаза покатила зима,
Спит вселенская почта, архангелы сходят с ума.

Ты не гадкий, лебедушко: воду кромсают дожди.
Погляди, мое солнышко, если живой, погляди,
Ну а если в обшарпанном зеркале спит полынья –
Не серчай, мой серебряный, вымерзнем, воля твоя.

Застольная

Д.Ж.

Мы льем через край, мы с тобой приближаем черту,
Мне видится край, где я снова тебя обрету,
И пропасть всё уже, и ярче цветы у межи.
Но полно, не слушай, и мне подливать не спеши.

Мы жили так длинно, мы просто не знали тогда,
Что кровь – не малина, а слезы – не просто вода,
Мы не были слепы, а слепли – и то не всерьез.
Глядели на небо, но в небе не видели звезд.

А нынче, мой бедный, разлуке сшиваю края.
Иголок – несметно, да рвется холстинка моя.
И в небе запарка, и в хлопотах жаркого дня
Усталая Парка, похоже, забыла меня.

Да мне-то не страшно: светло и на этой земле.
Сладимое брашно и брага на белом столе.
И сыто, и пьяно, и звезды – прозреет слепой.

Забыли меня, но как рано пришли за тобой.

Ольга Гришина родилась в Подмосковье, окончила Академию имени Тимирязева, переводчик с нидерландского, автор ряда поэтических книг, в том числе «Город сломанных зонтиков», «Пепельная среда» и других. Живет в городе Лёвен (Бельгия).

Семен КРАЙТМАН

* * *

дорога из Тиберии назад,
на запад, к морю.
темный виноград
становится еще темней
и тянет
на дождь и на тревогу...
на холмах
остатки солнца
в бронзовых тонах.

так говорит Господь:
– семью путями
ты побежишь.
и вот, слова твои
оброненные,
пропадут в пыли
раздавленную мякотью черешен.
семью путями...
в стиснутую ночь
ты побежишь,
отталкивая прочь
всех встреченных тобой
богов и женщин.

метнется дождь
испариной во сне.
как Долговязый Сильвер на корме,
постукивает старая калитка.
и я, за мокрым притаюсь окном,
не то чтоб сплю,
но забываюсь сном.
под сыплющийся шелест
эвкалипта.

* * *

потому и пытаешься
напрочь себя забыть,
чтоб не вздрогнуть от страха.
живя посреди камней,
в зимней пустыне,
трудно проговорить,
прошептать, что утро
вечера мудреней.
утром те же ветра.
прохладный, дождливый мир,
да урчащее небо
похожее на стекло,
к которому ты,
неумелый лжец и транжир
незаметных дней,
прислоняешь горячий лоб.
и глядишь с удивленьем
в декабрьский
густой рассвет
– чудеса, говоришь,
чистые чудеса.
и потом еще:
– слава Создателю –
смерти нет.
впрочем, кто – не помню,
об этом уже писал.

* * *

парки пусты.
по берегам прудов
снежные клочья
к темной ползут воде.

в тишине моих украденных городов,
подворотен, ратушей,
стоптанных площадей,
неслучившийся зодчий,
обезумевший букинист,
я бродил по холодным сумеркам декабря.
(составитель либретто,
глядящий из-за кулис,
из-за пыльной шторы на сцену).
свет фонаря
расплетался в зрачке
тысячью паутин,
слезных, блестящих,
рвущихся на ходу.
города в канители,
в арлекиновом конфетти
замерли в ожидании чуда.
– они идут!!!
я слышу железо кованых их сапог,
на камнях оставляющих
вдавленные следы.
волхвы печатают шаг свой.
глаза волхвов
горят в темноте.
зима.
ни одной звезды...

* * *

как же сказать,
что сердце мое болит?
да просто сказать, что вот:

«сердце мое болит».
то ли ночь не вмещает его,
то ли оно не вмещает
ночь,
рубцы на воде,
длинный, отчаянный свет
маяка,
который
добрую сотню лет
непришедший корабль,
глотаю слезу, встречает.

вот послушай:
скулящий ветер, спускаясь с гор,
замирает у моря
и медленно, как сапер,
едва касаясь волны,
горячей своей ладонью
гладит ее.
и шепотом над водой:
– Бог с тобою моя хорошая,
– Бог со мной,
– Бог со всеми,
с кем нам
придется делиться болью.

светит маяк
не теряя надежды на
мимолетную встречу,
щурится...
но волна,
свет его умоляющий
накрывает собой, корежит.
ночь нависает над берегом,
как скала –
неподвижна, огромна, камена, тяжела.
и смеется «сметающий крошки со своего стола»
и мы летим.
и остановиться уже не можем.

и дом в горах.
и озеро в горах.
дом в середине озера
и стынет
туман у берега.
тумана позади
светлеет лес.
прозрачен и правдив.

у берега,
в горах,
посередине
весны,
где тонкий, леденцовый наст,
в себя вобравший выражение глаз
всех тех, кто прожил жизнь из любопытства,
подламывает талая вода,
текущая неведомо куда.
вдыхать ее,
и пить
и не напиться.

все минет, кроме правды,
по весне
вдруг понимаешь, что стихи честней,
чем человек их некогда писавший.
недвижен лес.
и озеро и дом.
и лед на озере.
и небо подо льдом.
и стаи птиц на фоне голубом,
как капли высыхающей гуаши.

той жизни нет.
другие времена.
не наступают,
но проходят мимо.
обочинной.
а жизнь стоит одна.
удивлена, проста
и неделима,
как бильярдный шар.
последний шар
на вытертом сукне
под лампой низкой.
я уезжаю.
свет промокших фар
летающие перебирает брызги
дождя вечернего.
среди пордевших крон,
набрякшие, темнеют птичьи гнезда.
как ночью в море –
тишина и звезды –
со всех сторон судьба.
со всех сторон.

Семен Крайтман родился в Одессе, окончил Уральский Политехнический институт, публиковался в журналах «Новая Юность» (Москва), «Новый берег» (Копенгаген) и других изданиях. Живет в городе Герцлия (Израиль).

Руслан СОКОЛОВ

* * *

Осенью
в такую погоду хорошо
искать грибы –
в какой-нибудь стране,
где клещи
не страдают
энцефалитом.

(Это лето
нельзя назвать даже бабьим.)

Скоро к нам потянутся
люди –
отдохнуть от глобального потепления,
посидеть под мелким дождём.

Мы отдыхаем уже сегодня.

--

По дороге «дом – работа»
меня остановил человек.
Почему-то
он хотел, чтобы я его вспомнил,
называл
микрорайон, где я вырос,
повторял, что и сам из Черёмушек.

Я его не узнал,
зато
увидел в его глазах
неизменённый пейзаж:
кирпичные пятиэтажки
в окружении заросших дворов
и несколько высоток –

визитка города,
протянутая на северо-запад.

– –

Цвет зданий
вызывал вкусовые ассоциации:
карамель из восточных сладостей,
пастила, –
но немного светлее и
почти не сладко.
Летом
небо часто бывало холодным,
резкая синева
обрамляла тёплые стены.

Облака
казались лишними –
почти всегда.

– –

Хлеб продавался
в отдельном магазине:
вывеска
предупреждала о присутствии билингвалов.
Мы жили в квартире,
которую
освободила семья,
уехавшая за границу.
Они
носили фамилию Майзель.

Тогда я пытался
много раз повторять
одно и то же слово:
оно исчезало
в чередовании фонем;
а потом
через него
что-то
абсолютно чужое
подавало голос.

Думаю,
это можно было назвать
минималистскими стихами.

— —

Чужое
всегда было неподалёку:
оно
равнодушно встречало
меня в гастрономе,
подменив
материнское лицо
чертами незнакомой дамы
(то же платье, причёска, сумка —
и —
не она).

Ужас: как долго иду
и куда возвращаться?

Чужим
становился подъезд,
коварно казавшийся нашим:
три
лестничных пролёта
расслаивали пустоту
под ногами.

В этом пространстве
нельзя было жить,
и двери квартир
таили
жутких жильцов.

К счастью,
они
оставались внутри,
и спасение
было доступным –
солнечный двор
примирял и своих,
и чужих.

– –

Пахло травой –
по-разному
утром
и днём
после грозы;
этот запах
можно услышать сейчас,
неожиданно став на колени.

Дети из дома напротив
ели соцветия тёмно-зелёных вьюнов –
“баранки”,
напоминавшие чем-то
спаржу.
Здесь же –
в траве –
ухитрялись скрываться
игравшие в прятки.

Запах тогда
становился густым
и влажным,
как тёмная почва,
пробитая наспех корнями.

Тело
делалось грузным, –
таким же,
как плотно слежавшийся дёрн.
Захваченное врасплох
оно
не желало вставать.

– –

Всё время
что-то
строили –
тяжело ухал молот,
загонявший серые сваи
в мелкозернистый песок.
Не успевший застыть бетон
благоухал,
как в начале мира,
должно быть,
источала в пространство соль
морская вода.

Вечерами
можно было ощупывать кладку стен –
и чувствовать
её зыбкость.

Кто захотел бы признать,
что она
станет посланием
наших
матерей и отцов
всё ещё не рождённым
нами
детям?

Кирпичи здешних домов
до сих пор теплы,
как разжатые руки.

Кинотеатр
построили именно так.
Смельчаки проползали
под Большим залом –
в просвете
виднелась соседняя улица
и абрис забытой кем-то
перевернутой каски.

Она и сейчас
лежит там,
подобно доспехам,
оставленным
на поле боя.

Сидя в зале,
я посылал ей негласный привет –
перед каждым
киножурналом:
топос
располагал к сантиментам.

– –

Женщины, чьё время прошло,
и мужчины, чьё время уже не наступит,
этих людей
я благодарю за то,
что они
согласились жить рядом –
среди невыносимой
в своей простоте
архитектуры.

Не хватает
одной вещи:
говорить, практически,
не с кем,

общаюсь, в основном,
с чужаками:
особенно хорош Ювенал,
хоть и бывает зол
слишком.

--

Смотри:
над дамбой в нашу честь
опять дают салют;
в ночь семисот
тридцатилетней годовщины
петарды отражаются в реке
так беззаботно,
как если бы они
ныряли в небо.

Так выглядит моя любовь:
урбанистический пейзаж
и выигрышные номера –
в просветах.

--

Часто
слышен
Децим Юний:

«Много причин и других я бы мог привести для отъезда,
Но уже ехать пора: повозка ждёт; вечереет;
Знаки своим бичом давно подаёт мне возница...
Помни о нас, прощай!»

Мне кажется,
лучше не скажешь.

Руслан Соколов окончил гуманитарный факультет Даугавпилсского университета со степенью магистра филологии (диссертация посвящена русскому символизму), автор сборника стихов и переводов «1\3», а также ряда научных статей. Один из создателей литературной группы «Folio Verso». Родился и живет в Даугавпилсе.

Павел ВАСКАН

* * *

что сказать
что смолчать бы ещё
о прекрасном и бреде
или красного капнуть в бокал
и под музыку полночь включить?

* * *

Рождество
всё в снегу

и по эту сторону окон
уютно

и не слышно
почти что
небесных интенций

сверху ангелов шёпот
так тих!

и дома
очертанья теряют
и лица

сугробы по метру

выступает на сцене Зима

и мыслится сладко
за чаем
в тепле

тексты текстов трэш книг строк бормотанье
зима переменна
в погоде
постоянна лишь как календарный период
легендарное время течёт сквозь меня и друзей
а что делать?

воздух влажен морозен
у моря ветра и почти что снежные бури
и ты мысленно решишь зимним ангелом где-то
в разрежённости воздуха высоко над заливом

про февраль тянет тихо молчать

чай с бальзамом и виски в кафе
и домой электричкой в облаке снега
улыбаться с прогулки в окно
под вплетённые в вечер шумы

так наверное мёрзнет душа
чтобы таять затем
вопреки всем «нельзя»

только вязнут шаги на морозе в снегу
только вязнут в препонах пути

дни восходят
и реками годы текут
и мы продолжаем идти
под неоны реклам миллионы сюрпризов
где ты в пси-пространстве пилот
большой частью в свет и комфорт

рая ищет душа
или вечности в ходе секунд молчаливом

и вот снова –
в тихом месяце апреле,
в первых его числах,
перестав писать вдогонку ушедшим любовям
и мечтам о том, что не сбудется,
спокойно вдохнуть свежий воздух,
просто вдохнуть свежий воздух,
улыбнуться лучам с неба, ласкающим глаза,
греющим кожу на лбу, золотящим волосы,
прошептать: «ну вот и весна снова!»,
съездить на взморье, погулять по берегу,
аккуратно выпить с друзьями,
встретить весну как надо,
поискать в планах, в пространстве и времени,
реестрах ежедневника и памяти
местечко и возможность встретиться
с очередной кандидаткой в музы
или просто – девушкой
и тихо реализовать планы...

Павел Васкан родился в Даугавпилсе, окончил Рижский технический университет, публиковался в журналах «Даугава», «Невгин», «Провинциальный альманах» и других изданиях. Участник литературной группы «Folio Verso». Живет в Риге.

Евгения ОШУРКОВА

VERT

Средиземного моря вода зелена,
Цвета аквамарина до самого дна.
Цвет подобный в природе отыщешь едва ли...
Но еще зеленее фонтаны в Версале!

Не затем ли манил нас с младенческих лет
Бирюзовый, неверный, загадочный цвет,
Чтоб вода, над которой мы встали с тобою,
Оказалась зеленой, а не голубою?

Может, так преломляется солнечный свет,
Может, это особенный южный секрет,
Но воде – под платаном, заметь, а не кленом –
Низвергаться сподручней каскадом зеленым!

Так листай же страницы зачитанных книг,
Чтоб вернуться туда хоть на час, хоть на миг,
Чтоб в аллее, где встали античные боги,
Лист зеленый платана упал тебе в ноги...

Лист платана ты бережно спрячешь в конверт
И заучишь на память французское *vert*.*

* Зеленый (*фр*).

* * *

Русская надежда на авось
Аргумент хороший, но не веский.
Помнишь, как прощаться довелось
В комнате, где сняты занавески?
Каждый, даже зная наперед,
Что разлуки нет неодолимей,
Говорил про следующий год
И про встречу в Иерусалиме.

Остальное можно не читать,
Дальше я поставлю многоточье.
Все сбылось, о чем могли мечтать,
Только погрубей и повосточней.
Так была надежда горяча,
Что, вспорхнувши веером с оливы,
и сегодня горлицы кричат
На рассвете в Иерусалиме.

Остальное можно не писать.
Жизнь была в своем репертуаре:
Думала на лире побряцать –
Получилось только на гитаре.
Но иное время настает,
Я и вспомнить не берусь о лире –
Тень моя на следующий год
Остается в Иерусалиме...

* * *

Слушайте и поймете
Сбивчивый мой рассказ:
Не по своей охоте
Я покидаю вас.
Не по своей охоте
Я покидаю вас.
Помните, на заходе
Солнечный пламень гас?

Все, что люблю в природе,
Вижу в последний раз.
Не по своей охоте
Я покидаю вас.
Не по своей охоте
Я покидаю вас –
Вот уже в позолоте
Ясень, ольха и вяз.

И не менялась вроде,
И не сводила глаз.
Не по своей охоте
Я покидаю вас.
Не по своей охоте
Я покидаю вас,
На невозможной ноте
Длится и длится вальс.

Что мне теперь в свободе,
Если на этот раз
Не по своей охоте
Я покидаю вас?
Не по своей охоте
Я покидаю вас!
Вижу, на повороте
Машете мне, смеясь...

Евгения Ошуркова окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации, участник и лауреат различных фестивалей авторской песни, публиковалась в журналах «Даугава» и «Родник» (Рига), альманахах «Сталкер» (Лос-Анджелес), «Встречи» (Филадельфия), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Связь времен» (Сан-Хосе) и других изданиях. Родилась и живет в Риге.

Сергей СМИРНОВ

БОРОН

1

Что ни ночь – бесшумным вором,
как, откуда – не пойму,
прилетает черный ворон
к изголовью моему.
Он садится в изголовье
ближе, ближе всякий раз,
и горит почти любовью
влажный ониксовый глаз.

Он сидит себе на страже,
примеряется к лицу.
Клюв его мохнат и страшен,
а на лапах – по кольцу.
Кольца старые, литые,
из цыганских, воровских,
завитые, золотые,
в тайных знаках колдовских.

Из старинного преданья,
из загробного рыданья,
из былины вековой,
из приметы роковой,
из забытого поверья
прилетает он и перья
кротко чистит надо мной,
не печалуясь нимало,
что отложены пиры –
ждет условного сигнала
иль условленной поры...

Я по мертвой реке, по просевшему льду,
задыхаясь от ветра, устало бреду.
В серой мгле надо мной черный ворон летит.
Он кричит и кружит, он за мною следит.
Ноет сердце-вещун, обмирает в груди.
Вижу церковь вдали, да, видать, не дойти...
Хрустнул лед под ногой. Так и есть – полынья.
Дождалась-таки встречи, погибель моя!
Я хватаюсь за край ноздреватого льда –
он крошится под пальцами, словно слюда,
и течение, сердце мое леденя,
равнодушно под кромку толкает меня.
Я кричу по-звериному. Слаб человек!
Словно черный лоскут, ворон падает в снег.
Там, внизу, на стремнине, еще полынья.
Там проклятая птица и встретит меня.
Там глаза мои станут добычей его –
этот лакомка больше не ест ничего.

...Он dokonчит свой труд и взлетит не спеша.
Следом взмлет моя разбитная душа,
и две черные птицы – крыло ко крылу –
перекликнувшись, канут в туманную мглу.

* * *

Смертно-бледные, вялые, хрупкие,
покупаю цветочные трупики.
Без зазрения совести лупит
продавец по пятерке за трупик.

Я и вдвое бы дал за покойничков,
да еще поклонился б покорнейше –
ведь никто откровенней и гаже
ей всю правду о нас не расскажет.

Протяну их – и выйду из комнаты.
И глаза ее, синие омуты,
злой прищур замутит и состарит –
притворяться-то незачем станет...

Так что, дай мне, любезный, наверное,
три головушки усекновенные!
Нет – четыре! Числом и обличьем
соблюдаем похоронный обычай...

* * *

Ты хочешь знать итог – он будет прост:
тебя палач поднимет на помост.
Ребро крюком он отворит, как дверцу,
и черным пальцем остановит сердце.

Придет черед и к моему плечу
призывно прикоснуться палачу.
Он разорвет мне ворот на рубахе,
чтоб шея лучше прилегала к плахе.

Потом настанет время палача,
и он повиснет, ножками суча,
и жертвам и хозяевам немилый,
в петле, что сам подвесил и намылил.

Мы душу его встретим возле Врат
и тихо скажем: «С возвращеньем, брат»

Сергей Смирнов – поэт, лауреат ряда фестивалей русской поэзии и русской авторской песни Литвы. Публиковался в журналах «Вильнюс», «Литера», «Настоящее время» и других изданиях. Родился и живет в Вильнюсе.

Владимир ТРОФИМОВ

ДОЖДЬ В ПОРТУ

Идя по пирсу, бормотал
Весёлый дождь скороговорку,
Ударил дробью по бортам
И сделал мокрую приборку.

Перескочил на кроны лип,
Зашелестел, зашепелявил,
К забору древнему прилип,
Точней, в порту погоду правил.

Дожди весной воспринимать
Привыкли люди, как награду,
Как Божий дар, как благодать, –
И дождь старался до упаду.

Владимир Трофимов родился в Белоруссии, капитан дальнего плавания, автор стихотворных сборников «Причалы судьбы», «Мои февраль» и «Девятый вал», член литературного клуба «Среда». Живет в литовском городе Клайпеде.

Светлана ЛАПТЕВА

МОЛИТВА

Я научилась просто, мудро жить.

Анна Ахматова

Мне б научиться просто, мудро жить:
Ходить на службу и молиться Богу,
О прошлом вспоминать и не тужить,
Гасить в душе ненужную тревогу.

Мне б научиться просто, мудро жить:
Прощать врагов, обид не помнить многих.
И каждому в отдельности служить,
И не делить на близких и далеких.

Светлана Лаптева родилась в Пермском крае, окончила Уральский университет, публиковалась в газетах «Сугардас», «Встреча» и других изданиях, лауреат Пушкинской премии среди учителей русского языка и литературы стран СНГ и Балтии. Живет в городе Висагинасе (Литва).

Николай ГУДАНЕЦ

ПЕСНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Допустим, сумасшествие и смерть.
Совсем не та блаженная тревога,
что в юности снедала нас, как воск.
Допустим, ну и что. Нельзя быть порознь,
вдали от губ, ногтей, от скользкой боли,
распахивавшей небо так внезапно,
неумолимо, яростно и слепо,
безумию и гибели сродни.

Но порознь быть нельзя, пойми, нельзя,
ведь я тебя ношу в себе как рану,
в мозгу незаживающая точка
вращается, отравлена тобой.

Мне странно отпирать свою же дверь,
входить вовнутрь, не зажигая света,
входить смиренным чужаком туда,
где воздух соткан из твоих движений.

Я знаю – сумасшествие и смерть
сродни стране, где горе беспечально,
где много золотистого песка,
душистой тени, вкрадчивой воды,
где порознь быть нельзя, где каждый носит
в себе другого, ощущая тихо
двойного сердца властные толчки.

Когда в душе, набрякшей, как сосок,
мы раскрываемся, щедрей и проще,
чем лоно, умащенное желаньем,
распахиваемся и пьем друг друга,
летая на качелях жадных мышц,
вздыхаемся, пронзая темноту,
и после гаснем в исступленном крике,
когда по коже, словно пот, струятся
нестрашные безумие и гибель,
как два ручных зверька, перебегая
из рук на плечи, и, клубком свернувшись,
сощуривают жесткие глаза,
тогда я начинаю понимать —
им порознь быть нельзя, и нам нельзя,
вот потому-то
мне странно отпирать свою же дверь
и, сделав шаг вовнутрь, стоять подолгу,
не зажигая света.

* * *

Некому звякнуть за дверью ключами,
в доме ни звука, и если б не вечер,
может, прошла бы вполне беспечально
жизнь, и, наверное, было бы легче,
если бы память могли переставить,
словно привычную старую мебель,
если б смогли на мгновенье представить
где-нибудь, кроме бесстрастного неба,
встречу свою, без попреков и травли,
стало б хоть чуточку легче обоим.
...Снятый портрет неизбежно оставит
въевшийся, свежий квадрат на обоях.

Поздним рассветом накормишь ребенка,
выйдешь в прихожую, наспех одетая,
и отшатнешься, забыв про гребенку, —
в зеркале дождь и осеннее дерево.

Мы бродили по склону змеиной горы,
ожидая вечерней недоброй поры,
среди колючек и трещин сухих,
но на самой вершине беспечной игры
нисходили дары и кружились миры
в недоверчивых пальцах твоих.

Мы наощупь искали пронзительный свет,
заблудившись в изнанке стекла,
торопливый озноб меж лопаток стекал,
но рука все плыла между свеч, сигарет
и несла недопитый стакан.

Я не вправе об этом теперь вспоминать.
Я смотрю, как орудует тот
всемогущий урод, распластавший меня,
чтобы взрезать брюшину, ввести электрод
и включить ослепительный ток.

Возвратившийся ветер смешал времена,
вихревой кочергой разметал имена,
между ребер вмурована чья-то вина,
словно перстень, стрела и печать.
Так пускай между всеми стоит тишина
толщиной с бесконечность ночного окна.
Слишком стыдно кричать.

Алексей ЛАНЦОВ

* * *

Мой сосед, Тоссавайнен, домой приезжает под утро,
Спят в окопах друзья, и невеста уснула в авто.
Всполошив не на шутку на речке ночующих уток,
Мерс под окна подгонит и долго не глушит мотор.

Над Суоми большая луна строит кислую мину,
Ещё час-полтора – и начнёт просыпаться народ.
Столько русских вокруг, что невольно сочувствуешь финнам,
По ошибке звонишь не туда – трубку русский берёт.

Привыкаешь к стране, где тебе улыбаются люди,
Облечённые властью (но не отягчённые мздой),
Где над площадью главной высится столбиком ртути
Просвещённый монарх – русский царь Александр Второй.

С постамента царя – этой гордой и властной фигуры –
Не снесли даже после проигранной Зимней войны.
Он стоит как фиксатор приемлемой температуры
Отношения к русским в большом организме страны.

Побываешь в столице – заполнишь до самых подкорок
Впечатленьями мозг, чтобы дома, уже поостыв,
Вспомнить гладкие руки дорог, обнимающих город,
Дом-кроссворд, что на солнце блестел клеткой окон пустых,

Или Финский залив, в нём теперь и твоё отраженье
Где-то в складках волны, или чайка его унесла?
Возвращения вечного нет, это миф – возвращенье,
Затемняющий суть: жизнь не круг, не спираль, но стрела.

А мишень у стрелы за пределами этого мира –
Край, куда эмигрируют все и уже навсегда.
Может, там по-другому поёт просветлённая лира
И стихи «Калевалы» озёрная шепчет вода?

Взглядом праздным блуждаю средь облачных серых развалин,
Там зависла луна и мерцает, что твой монитор.
Возвращение – блеф, возвращается лишь Тоссавайнен –
Вновь приехал под утро и долго не глушит мотор.

Алексей Ланцов родился в Красноярском крае, окончил филологический факультет и аспирантуру Ульяновского педагогического университета, публиковался в журналах «Иные берега» (Финляндия), «Партнер» (Германия), «Русский миръ» (Россия) и других изданиях. Автор книги стихов «Русская тоска», член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Живет в финском городе Сало.

Татьяна ПЕРЦЕВА

PADLA INTERNACIONALIS

Padla internacionalis (интернациональная падла) – подвид живых существ, который нельзя однозначно определить и отнести к виду живых существ в существующей и разработанной классификации, предназначенной для всех живых существ. Так как данный подвид нельзя однозначно определить, то невозможно однозначно сказать существует он или нет.

Из словаря World Wide Web

Наш мир очень личен и очень тесен, потому что обычно тебе комфортно лишь в компании тех людей, которые разделяют твои взгляды и воспринимают реальность на такой же частоте. Остальное общение неудобно, оно постоянно к чему-то обязывает, заставляет выходить из собственной зоны комфорта и мимикрировать под то, что принято там, за пределами ситцевого равновесия.

Если ты не любишь синтетику, то это неправильно. Представь, сколько заводов и фабрик встанет, если все откажутся от (далее список на километр), представь, сколько людей останутся без работы, если все откажутся от (далее список на километр), ты *обязан* любить синтетику. Всё равно не любишь? Ну, тогда сделай вид, что любишь. У тебя аллергия на синтетику? Улыбайся. Сегодня наденешь это, завтра получишь скидку на то. Зачем тебе скидка на то? Радуйся. Скидка на то даёт право на скидку ещё на то и на это. Тебе ничего не нужно? А какой, говоришь, у тебя идентификационный номер? Ах, конфиденциальная информация, право частного пространства. Вы нарушаете общественное спокойствие, покиньте помещение, иначе нам придётся принять меры безопасности, иначе нам придётся...

С этого начинается любое интеллектуальное изнасилование, потому что ты привыкаешь к состоянию, которое называется «обязан».

Пока ты обязан, ты – пленник, твой мозг насилюют и выносят только для того, чтобы ты привык быть винтиком Великой Системы. Она знает, как правильно устраивать и устраиваться, она поможет тебе умереть в неведении и забыть о той свободе, которую знает каждый из нас и право на которую получает с момента рождения. Эта свобода интуитивно распознаёт то, что не подходит именно тебе в механизме Великой Системы. Если не подходит почти всё, значит, ты слишком плохо прошёл КМВ (курс молодого винта), и что с тобой делать Системе, пока не очень понятно. Но не расстраивайся, она найдет с чем и под каким тебя переварить.

«А пока думай, винтик, думай», – и Система растягивает гигантский рот в широкой улыбке. Из рта торчат кипы бумаг, документов, а в железных зубах застряло множество надкушенных яблочек познания фирмы Макинтош. «Хочешь одно?» – вежливо предлагает Великая. «Ешь сама», – думает неудавшийся винтик и спешит откланяться. «Но к смерти, – сообщает спешащему прочь от неё Система, – лучше подготовиться заранее, выправить бумаги, написать завещание...».

Не надо доставлять лишнего беспокойства Великой и её адептам, не надо думать, адепты помогут тебе, для всех твоих сомнений существуют профилактические меры, направленные на улучшение твоего внутреннего состояния. Тебе помогут предотвратить болезнь, которое называется свободное размышление. «Но если я уже болен и являюсь частью Системы, и если болен не я один, а всё моё окружение, то может, Система тоже заражена и настала пора мне думать о ней, а не ей думать о профилактике среднестатистической единицы меня, не имеющей даже лица. Только порядковый номер».

С такими мыслями я покидала в субботу одно общественное мероприятие. Мне очень хотелось домой, чтобы успеть приготовить ужин и успеть на сеанс фильма в кинотеатре «Энгель». К ужину не хватало молока, сыра и хлеба, поэтому я зашла в магазин. Купив всё, что нужно, я начала укладывать купленное в тряпичную авоську вблизи магазинных касс. Услышав какой-то

шум, я обернулась и увидела, что на открытом пространстве стоят двое мужчин, которым что-то объясняет охранник.

Прислушалась. Охранник объяснял на английском языке двум гражданам следующее: «Покупателю, который находится в состоянии алкогольного опьянения, нельзя покупать алкогольные напитки в магазине. Ему надо прийти в нормальное состояние, то есть поспать, а потом вернуться в магазин, чтобы сделать покупки. Так гласит закон нашей страны», – добавил весомо в конце своей речи охранник.

«Опять Кафка, – подумала я. – Всё чаще и чаще попадаю именно в его контекст». Один гражданин ответил на английском, что он не понимает законов и хочет купить пиво второму гражданину, который не говорил по-английски, но зато каждые две секунды повторял на русском: «Ну чё этот урод хочет? Чё мы сделали? А? Чё?» Второй говорил с охранником, который, отрицательно качая головой, пояснял, что по законам его страны нельзя покупать алкоголь человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения вторым лицом с целью передачи алкоголя лицу, находящемуся в данный момент в состоянии алкогольного опьянения. Владеющий английским языком товарищ не мог одновременно разговаривать и отвечать на вопросы.

Тогда оживлённый и пока что не опохмелившийся гражданин увидел меня. Я стояла и думала, нужна ли моя помощь в данной ситуации, например, охраннику или двум гражданам в качестве переводчика или не нужна. Не опохмелившийся гражданин начал резво двигаться в мою сторону, размахивать руками и вопрошать: «Ну чё вылупилась, падла финская, чё вы вообще за падлы такие финские, чё за страна такая, а?».

Я подумала, что не зря в своей жизни всё чаще и чаще вспоминаю высказывание о благих намерениях, которыми выслана дорога в ад. Изобразив траекторией своего движения какую-то сплюснутую параболу, мне удалось обогнуть гражданина и выйти из магазина.

Уже в трамвае в голову пришла мысль, что следует подумать о Великой Системе с точки зрения самой Системы, а потом я вспомнила о гимне Советского Союза (потому что слова нового российского гимна я наизусть не помню), который был исполнен мною в лифте для простой финской гражданки, которая была

уверена, что я – русская падла, то есть «vitun gyssä», порчу ей жизнь тем, что живу с ней в одном доме, на одной улице, в одном городе этой страны. С её точки зрения, я не имела права ездить с ней в одном лифте. С моей точки зрения, я могла не только ездить с ней в одном лифте, но и петь гимны. Жаль, что я не успела исполнить ей отрывок из «Maamme» (гимн Финляндии) или «Gaudeamus igitur», потеряла слушателя. О, поездки в лифтах, ну почему же вы так скоротечны?

«Интересная философская петля получается, надо об этом подумать», – сказала я себе перед сном. И успокоилась. Но надо-лго ли? Вот в чём весь парадокс.

Татьяна Перцева родилась в Петрозаводске, окончила Державинский лицей, публиковалась в журналах «Дружба народов», «Дети Ра» (Москва), «Иные берега» (Хельсинки), «Гайд-Парк» (Лондон), «Воздушный змей» (Таллин) и других изданиях. Живет в Хельсинки.

Елена ЛАПИНА-БАЛК

КЛОУНАДА

– В пятницу идем в гости, – как бы между прочим обронила я, прошмыгнув к телевизору. Вопли мужа слышались минут через пять.

– Нет, с тобою, Юлька, можно спятить, ведь только ниспослал Господь нам pekkasraiva* на пятницу, а ты тут... Думал, на три дня отключусь от всего. Так нет же, опять гости. Приглашают и приглашают!

Лёнчик уже нависал у меня за спиной, как грозовая туча. Не оборачиваясь, загадочно произнесла:

– Будет арабская еда, пить будем только чай, и вырядиться надо по-арабски.

– Чт-о-о! Это что еще за чушь? Это кто такое выдумал?

Тут я отважилась обернуться:

– Ханну вернулся на родину Суоми из Ирака, говорит, что за три года совсем обарабился. Вот, говорит, в выходные и забегайте. Ну что, пойдём?

За что люблю мужа, так это за отходчивость.

– А что сразу-то не сказать. Ханну – это дело святое. Юль, а ты все точно помнишь? – и вопросительно на меня посмотрел.

Ну и язва же – этот Лёнчик! Все забыть не может, как в прошлом году мы явились на День независимости Финляндии к моим финским друзьям в русских национальных костюмах: я в сарафане и кокошнике, а муж в красной косоворотке и с бала-лайкой в руках. Все так и обалдели. Вот только независимость-то финны праздновали от России, а мы вырядились: вы, мол, тут празднуйте-празднуйте, но помните – мы всегда с вами. Ну, да это не со зла получилось, я перепутала ихнюю независимость с

* pekkasraiva – дополнительный выходной день.

нашим Днем конституции. Есть за мной такой грешок – часто путаю даты и имена.

Пятница. Перед выходом с пристрастием осматриваем себя в зеркале. На моем почти двухметровом муже – белый длинный балахон с разрезами по бокам, расшитый на груди золотом. Голова покрыта бедуинским платком, перетянутым черным жгутом. Черную бородку клином – а ля шах Шахрияр – пришлось приклеить. Ну, о-о-чень стал похож на шейха. На мне – черное длинное платье, тоже блистающее золотом. Чадру надевать не стану. Еще чего! Вот золотую ленту на лоб, пожалуй, повяжу. Когда-то всю эту амуницию мы приобрели в Египте, в сувенирной лавке...

В таком виде нас и увидели соседи. Подшучивали, спрашивая у Лёнчика, где же другие жены? Кто-то, сдерживая улыбку, произнес: «Они, наверно, в мечеть поехали, пятница у мусульман – священный день». Мы степенно сели в мерседес и провожаемые добродушными взглядами отбыли. На перекрестках, где мы были вынуждены останавливаться, из окон соседних машин на нас пялились пассажиры. Видано ли, при таком разгуле терроризма всякие бен Ладены свободно разъезжают по дороге!

К счастью, во дворе у Ханну было безлюдно, хоть здесь никто на нас не таращился. Правда, из окна первого этажа высунулась улыбочивая старушка, но что-то вдруг напугало ее, она стала усердно закрывать окно и даже форточку.

Поднялись на второй этаж и позвонили, но нам почему-то никто не открыл. Наконец послышались шорохи, дверь распахнулась... Перед нами стоял Ханну в майке и трусах и почему-то заспанный. Я подумала: розыгрыш, наверно, ну так расплывись же, наконец, в улыбке... Но Ханну не улыбался и даже не приглашал пройти. Его взгляд был обалделым. Правда, обалделость длилась всего несколько секунд.

– Лео, Юлька, ну так отчен заметчательно! Вы вот приходит!

Он раскинул руки, чтобы обняться – видать, забыл, что стоит в одних трусах и майке. Мы с облегчением выдохнули. Нас, значит, ждали! Откуда-то из глубины квартиры послышался голос ханской жены (так мы называем Маришку – жену Ханну):

– Кого там черт принес? – это было произнесено по-русски, дабы финны не поняли. Маришка, вся в легком и шелковом, выплыла из какого-то экзотического аромата.

– Так ведь, – начала я, – вроде мы на арабский...

Лёнчик быстро сунул Маришке букет.

– Юлька, вечно ты все перепутаешь, завтра ведь, – уже нежным, как восточные сладости, голосом протянула Маришка. – Ведь на выходные договаривались. Приходите завтра.

– Мариша! Как это? Друзья пришли... – обиженно развел руками Ханну. – Я скучал три год, я совсем не пил. Лео, у меня всё с собой, ёлы-палы!

Ханну учился пять лет в Ленинградском горном институте, жил в общежитии, где и набрался выражений типа «жахнем по стопарику», «вы что, охренели?» и много всякого эдакого...

Нет, лучше бы нам не видеть этого Маришкиного взгляда-цунами. Мы даже попятнулись. А я только и смогла пискнуть: «Нет, что вы! Мы уж завтра».

– Вот видишь, Ханьчик, они завтра...

Маришка обняла Ханну, мне сказала лицом: «мол, надо же в конце концов и понимать», помахала Лёнчику ручкой и медленно притворила дверь.

Я нисколько не обиделась: свои же люди.

– Ну ты и идиотка, Юлька...

Наверное, Лёнчик сказал бы в мой адрес и еще что-нибудь лестное, но на первом этаже слышались мужские голоса.

– Йоукко, говорю я тебе – эта вздорная баба из пятой квартиры вот уже который раз всех нас veetaa muunasta*. Звонит анонимно и сообщает про убийство за стенкой, а там молодая парочка всего лишь повздорила, когда шел любимый старухин сериал.

– А помнишь, Пете, в прошлом году было сообщение о газовой атаке? Мы, как идиоты, выехали, а оказалось – вьетнамцы этажом выше селедку жарят.

– Так, может, это опять сигналила как её там – Пипу Пууки. Насмотрелась вчера новостей, и вот. Срочно, говорит, выезжайте и защитите от террориста с шахидкой.

И тут мы сталкиваемся на узкой лестничной площадке с двумя полицейскими. Секунда молчания... Затем резкий двухголосый ор: «Всем стоять на своих местах! Полиция!» – это они явно от неожиданности и испуга. И, как по команде, оба правую руку на

* Veetaa muunasta – тянет за яйца. Идиома означает: «причиняет множество неприятностей».

дубинку. А мы что, спешили разве? Голоса только у них уж очень противные. Никто не стал руки нам заламывать, как это принято показывать в полицейских фильмах, а только: «Стоять!» – и затем: «Предъявите документы».

И паспорт, и права у нас давно финские – более двадцати лет в Финляндии охлаждаем, не зря друзья из России шутят, что мы стали здесь вроде как замороженными (в смысле – лица наши). Вот и полицейские, видно, за своих признали. Нам этого всегда очень хочется, чтобы за своих принимали, это при имеющейся в паспорте отметке: место рождения – Ленинград. Возвращали документы уже с улыбочкой. А потом вопрошающе, голову так набок, и глазами сверху вниз измерили. Я в этом сразу поняла вопрос: мол, чё так вырядились?

– Конституцией не запрещено, – заорало вдруг что-то из меня, – а ущемление прав кара...

Хорошо, что Лёнчик меня перебил и этак лебезя:

– Да так, дуркуем по-взрослому. Точно угадали, спасибо вам – карнавал у нас, клоунада такая арабская.

Уже не глядя на нас, один обратился к другому:

– Йоуко, ты у них что-нибудь спросил?

– Нет, а ты, Пете?

– Оснований для задержания нет.

– Нет.

И обращаясь к нам в один голос:

– Свободны.

Мы достойно... бросились вниз по лестнице.

– Как думаешь, что это было? – проговорил один из полицейских, когда хлопнула входная дверь.

– Не знаю... По паспортам – русские, а так – вроде арабы.

– Слушай, а ты видел в Финляндии русский карнавал? Я думал, они все в казаков да матрешек рядятся... А эти – в арабов. Странно как-то.

– Чёртова баба все ж таки эта Пууки!

– Пошли, Пете, в пятую, я так думаю.

– А я думаю, Йоукокко, отправить бы эту бабу куда-нибудь подалее... Хоть на Луну.

– Не-е, на Луну – ты загнул: слишком далеко и дорого... Лучше в Лапландию! А?

- Как думаешь, а этим-то зачем все это!
- Так пить, наверно, пойдут. А нам тут с сумасшедшей бабой возись. Слушай, а ты, Пете, любишь русскую водку? Тут жена в Питере была, привезла водку их президента.
- Что, «Столичная»?
- Да нет – «Пуу-тинка»! Знаешь, не хуже нашей.
- Да... Разве узнаешь, что у этих русских на уме.

Елена Лапина-Балк родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский институт точной механики и оптики, автор книг «Задушевный разговор», «Слезинка на щеке», «Зеленая ветвь», «Светопад», «Тропы судьбы» и многих других, руководитель Международной творческой ассоциации «Taivas», главный редактор литературного альманаха «Под небом единым», член финского ПЕН-клуба. Живет в Хельсинки.

СОРОК ВОСЕМЬ ШАГОВ

(Cornwall. Caragh Luz)

Тускло-жёлтый фонарь освещает покорно урну
и поблёкший фасад обанкротившейся коптильни...
Через десять минут с интонацией нецензурной
прогундосит «подъём!» обалдевший вконец будильник.
Дребезжащая жесть – видно, кто-то футболил банку,
монотонным шуршаньем ему отвечает дворник,
и прилично распухший, как после хорошей пьянки,
вылезает облезлым котом полусонный вторник.
Расшумелись... Вставать? Да я, в общем, и не ложилась...
Белоглазое утро ползёт, как упырь из склепа –
заунывная песня Атлантики тянет жилы
и Атланты спросонок опять уронили небо...
Сорок восемь шагов через улицу в пузо паба,
где зевающий Томми приносит неторопливо
неизменный пшеничный батон с ерундой из крабов
и огромный стакан с неизбежным имбирным пивом...
Справа курит рыбак, слева – что-то жуёт чиновник...
На скале, приютившись подмышкой у серой глыбы,
неземной аромат источает седой шиповник,
вперемешку с обыденной вонью копчёной рыбы...
Атакуют волны причал бесконечной армадой,
разбиваясь о сваи: горит шапокляк на воре.
И, с английским спокойствием вея над променадом,
бриз обрывки вчерашних иллюзий сметает в море...

* * *

В тишине извивается струйка табачного дыма,
Вместе с ней растворяется память о бывшей любви.
Но ужасно не хочется верить, что я – заменима.
Понимаю: банально... Ну что ж, такова се ля ви.

Кто из нас был неправ, может время потом и рассудит,
Но за давностью дело закрыто: нет важных улик.
Только очень печальны слова «заменяемые люди»...
Понимаю: каприз... Ты к моим сантиментам привык.

Извини за эмоции. Я надоела? Заметно...
Просто грустно мне что-то сегодня, хандрю, хоть убей!
В тишине извивается призрачный дым сигареты,
Вместе с ним растворяются боль и мечты о тебе...

* * *

Каким удивительно сказочным было начало,
А нынче приходишь и в губы целуешь привычно,
Но вот почему-то совсем без тебя не скучала,
Что, как понимаю, тебе глубоко безразлично.

Припомни, как вместе смеялись, порой горевали,
Узнать друг о друге казалось и важным и нужным...
Сегодня мечтою моей загорисься едва ли,
А если попросишь совета – глядишь равнодушно.

Что делать? Завыть, как стареющий волк-одиночка?
Спросить, не имея желанья дослушать ответы?
Я думаю, если и любишь, то лишь оболочку.
Ну что же, возьми! В ней меня всё равно больше нету...

Муха в янтаре

Из лавки ювелира де Фужре,
где манит жемчуг и сияют броши,
на бархатной подушке замерев,
сверкающая муха в янтаре
завистливо глядела на прохожих.

Ей представлялся солнечным январь,
зима казалась бесконечным летом,
почти звездой – забрызганный фонарь:
она на всё смотрела сквозь янтарь,
налитый золотистым тёплым светом.

Погода бесновалась за стеклом,
прохожих осыпая мелким градом,
а те вздыхали: «Мухе повезло,
в её витрине сухо и тепло,
приятно в обрамлении богатом!».

Так и смотрели: люди – на кулон,
а муха – на завидное движенье.
Виновен был янтарь: ведь это он
своим волшебным цветом – с двух сторон –
невольню исказил изображенье...

Чего нет в Греции

В Греции всё есть...
(известное заблуждение)

Там фрукты, море, люди милovidные,
Звучат бузуки, струнами звеня.
Там есть почти что всё. Но вот, обидно мне,
Что нету в тёплой Греции меня.

Там воздух ароматный удивительно,
Конструкторы троянского коня,
Философы, артисты и мыслители,
Но явно недостаточно меня.

Уютные приморские деревни и
Зовёт купаться синяя вода...
А греки (ну, когда не слишком древние) –
Мужчины, между прочим, хоть куда.

И я пришла к решению справедливому –
Так больше не желаю жить ни дня.
Не будет мужу мира под оливами,
Пока не будет в Греции меня!

Colonia ara Agrippinensis

Я так люблю торжественные лица
твоих церквей, но, знаешь, до сих пор
прекрасный и далёкий купол снится,
украшивший Андреевский собор...
Зима ванилью пахнет и глинтвейном,
а осень – спелой сливой, но, увы,
твой дивный берег – только берег Рейна,
а не гранит покрытой льдом Невы.
Люблю степенность улочек старинных
и летние хмельные вечера.
Колония – создание древних римлян,
но мне милей творение Петра,
что было счастьем, болью и недугом...
Прости, мой Кёльн, никто не виноват:
ты дал, что мог. Ты вечно будешь другом!
Возлюбленным остался Ленинград.

Анна Людвиг родилась в Ленинграде, автор поэтических книг «Работа над собой» и «Безмолвие», член Международной творческой ассоциации «Taivas», лауреат ряда международных конкурсов, в том числе финалист Международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» (2009). Живет в Кельне.

ИСПАНСКИЙ ГРАНД

Она сама не смогла бы вспомнить, когда это началось: вечерами она выплывает из смрадного склепа квартиры, пьяная, задиристо-беспечная, и, шатко чертя каблуками асфальт, переходит улицу под отчаянный вой автомобильных сигналов, под угрожающий визг тормозов, под шипение истирающихся шин – к трамвайной остановке напротив дома.

Вдалеке посреди колеи покажется яркий блин прожектора, и будут гудеть рельсы, пока не подкатит, гремя и вздрагивая, освещённый изнутри вагон. Она взбирается, спотыкаясь о ступени, держась за поручни, чтобы не упасть, улыбаясь. Садится где-нибудь у окна, и полы плаща сползают с её колен. Она смотрит по сторонам, в окно – в пространство.

Потом к ней подсаживается одинокий мужчина, заговаривает, они едут, пропуская остановку за остановкой, пока трамвай не пускается в обратную сторону. Она выходит на своей же остановке в сопровождении нового знакомого, ведёт его в невымытый запущенный быт, а дома угощает попутчика водкой и жалуется на постылую жизнь. Хмелея, он тащит её в кровать и, не дождавшись рассвета, исчезает, обещая «как-нибудь заглянуть». «Ты классный пацан», – говорит она, прощаясь, и забывает о его существовании. Она помнит лишь последнюю свою привязанность – меланхоличного уродца-карлика на кривых, вздувшихся от какой-то болезни ногах.

Он живёт неизвестно где и придёт неизвестно когда.

Ночь. Мокрый чёрный скользкий асфальт. В грязных лужах вздрагивают отражения. В городе между домами сырой неуют. Оставив машину на автостоянке, Бугров добирается в гостиницу пешком – под подошвами гибнут, но вскоре воскресают отражения в лужах.

В жёлтом свете маячит силуэт женщины, плывущей в мороси дождя навстречу подъезжающему к остановке трамваю. У Бугрова сладкий обвал в груди; мечется, как дичь в клетке, предвкушение – похоть, и он взлетает на подножку трамвая. Дверь закрывается, прищемив Бугрову куртку. В движении он выдёргивает её и невольно, чтобы сохранить равновесие, бежит по салону, успевая заметить женщину – из-под голубого плаща видны колени. Бугров тормозит руками о поручни, останавливается рядом с нею, забывшейся, и, наклонившись, просит подвинуться, чтобы сесть рядом.

В салоне кое-где пассажиры, и предательски пустуют места, но она без слов сдвигается и, когда он падает на сиденье, покорно поворачивает к нему лицо. По улыбке и глазам он видит, что она пьяна, но это лишь подзадоривает его. Он сетует на непогоду, и в её чертах лица и в жестах чудится ему что-то неповторимо близкое, но прочно забытое. Он роется в памяти, безуспешно силится вспомнить. Белокурый локон, убранный в сторону, стекает к губам. И в памяти открывается створ, исчезает пелена.

Тогда, лет десять назад, судьба свела его, искателя приключений, с хрупкой женщиной – голос её звучал в проникновенной тональности. Она заговорила с ним о жизни. Пригласила к себе и всё рассказывала о череде злоключений, преследующих её: смерти родителей в родном селе, предательстве мальчика, которому подарила первую любовь, о напрасном замужестве.

Она привела Бугрова в квартиру, где снимала комнату, уйдя от мужа, и продолжала свой рассказ. Развод перенесла так напряжённо, что потеряла уверенность в себе и веру. Состояние её было подавленным. И как-то, во вспышке отчаяния и боли, попыталась свести счёты с жизнью под колёсами железнодорожного состава. Её, рискуя жизнью, спас молодой человек, случайно оказавшийся рядом, студент-испанец. Придавил к шпалам. Избавлением прогромыхали над ними вагоны.

Испанский гранд – так назвала она нового и теперь безраздельно своего друга. В Испании у него семья: родители, жена, дети. Он говорил ей, что любая испанка, провожая мужа в дальние края, молится, чтобы муж нашёл на чужбине добрую женщину, чтобы был он присмотрен, ухожен и не одинок.

Зажили вместе: она с ним, а он с нею и – воспоминаниями о семье. Одолев сессию, Испанский гранд торопился домой, в родную Испанию. А она оставалась ждать своего дорогого испанца.

В такое время и состоялось её общение с Бугровым. Она показывала ему фотографии в альбомах, всё её состояние. Далеко за полночь ушло время, погасили свет, но два молодых тела так и не слились в порыве – она осталась верна Испанскому гранду, несмотря на пиратские ухищрения Бугрова.

Утром пришёл хозяин квартиры, познакомился и за чаем рассказал Бугрову, что внук учится у его квартирантки испанской речи. Она принялась перемывать накопившуюся посуду. А Бугров ушёл – навсегда, унося в памяти безнадежную любовь маленькой женщины к Испанскому гранду. До поры, до времени помнилось и – забылось.

В салоне трамвая Бугрову, пока он рассматривает изменения в её лице, становится любопытно: а что же Испанский Гранд, где он теперь, жива ли любовь к нему хрупкой женщины, с которой лет десять назад он, Бугров, провёл неразделённую ночь в маленькой комнате? Сохранились ли фотографии в альбомах? Хорошо ли говорит по-испански внук хозяина квартиры? Жив ли сам хозяин?

Рассыпанные воспоминания трамвай вколачивает в стыки рельс. Бугров разговаривает с нею и начинает понимать. И ему становится не по себе от мысли, что той её, прежней – хрупкой, с волнующе чистыми нотами в голосе – уже нет, что эта, теперешняя, лишь отвратительная гримаса судьбы – не ориентируется ни в прошлом, ни в настоящем, что исчезла навсегда бескорыстно-чуткая тональность её души.

Осторожное напоминание об Испанском Гранде вызвало у неё сварливое недоумение. Мысль – «как же это могло произойти» – мучает Бугрова, и он решается проводить её домой. Но побыстрее.

На ближайшей остановке трамвая они выходят, и он подзывает такси. Они едут, а потом идут к дому, и Бугров видит знакомый двор, разбитые двери подъезда, старую лестницу, испанские хулиганские стены. Они поднимаются на второй этаж, он галантно берёт у неё ключ, отпирает замок и, впустив женщину

в коридор, останавливается. И – прощается, возвращает ключ и осторожно прихлопывает снаружи дверь.

Он стоит ещё некоторое время на площадке. По ту сторону слышится пьяное бормотание и слышится, как она шарит рукой по двери, как будто знает, что он не ушёл. Но ей не удаётся открыть, она замирает и, всхлипывая, стонет: «Испанский гранд... Испанский гранд...». Он с облегчением выходит из подъезда на уличный сквозняк, а мимо него в подъезд ковыляет карлик в шляпе с траурными полями.

Аркадий Маргулис родился в Киеве, специалист в области ядерной энергетики, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Автор книги «По обе стороны перевала». Живет в городе Бат-Ям (Израиль).

ГРОГ

...Нашего любимого кипящего напитка. Это совсем несложно, только вода должна быть очень горячей. Нет, не просто горячей – нужен именно кипяток. Ром, лимон, сахар, корица – это всё хорошо и необходимо, но без настоящего кипятка получится не грог, а бесполезный сладко-кислый коктейль, которым не согреться приличному матросу на паруснике, идущем полным ходом в дальние края.

Мы с ней обожали грог – даже иногда летом, но особенно зимой. Когда пьёшь грог, чувствуешь, будто подплываешь к Панаме или Ямайке на одном из кораблей адмирала Вернона, – волны, как стаи тупорылых акул, набрасываются на борт, вгрызаются в обшивку, ломают киль, – но, выпив грога, почувствуешь себя укротителем расвирепевших чудовищ, всмотришься в даль и закричишь приунывшим, продрогшим товарищам: «Земля!». Тогда акулы поймут, что никто их тут не боится, и беспомощно расступятся, пропуская нас к берегу с пальмами и песком, похожим на белый похрустывающий шоколад. Старый грог – так прозвали адмирала – остался бы доволен.

Она была моей лучшей подругой – даже не лучшей, а единственной. Да, единственной, так будет правильно. Это понятие перемешивает, растворяя одно в другом, количество с качеством: когда единственная, сравнивать не с кем. А ей, наверно, сравнивать было бы утомительно – слишком много оказалось бы сравнений.

Я гордилась ею. Даже не столько ею, сколько тем, что она у меня есть, а ещё сильнее тем, что у неё была я, и больше никого, я надеялась, не было. Вернее, как раз были, и очень много, но совсем по-другому: они в отличие от меня не были единственными...

Когда мы гуляли и все разглядывали её, я чувствовала себя так, как будто смотрят и на меня тоже, потому что я не думала о ней без себя и не представляла себя без неё. Если бы я была одна, возможно, на меня случайно и посмотрели бы – ну, и что

бы увидели? А когда смотрели на неё, я себя чувствовала не только собой, но и ею...

Теперь будет по-другому...

А тогда, если я сейчас не ошибаюсь, я была счастлива. Улицы пропахли адмиральской трубкой, и нитки протянулись между деревьями: бери и развешивай промокшие в атлантический шторм тельняшки. И листья под ногами шелестели, как будто кто-то разворачивает шоколадную фольгу или конфетные обёртки...

Работа у меня была совсем домашняя, не то, что у неё – с постоянными разъездами. Так что вместе мы бывали если и не всегда, то часто, хотя жили в разных концах города. Ходили по улицам, и я в основном слушала: она рассказывала мне о своих поездках, а я – уверена, что единственная – не просто выслушивала, но и давала оценку, надеюсь, не хуже опытного любителя или начинающего профессионала. Она прислушивалась, потому что я говорила, хотя и немного, но ненавязчиво и заинтересованно – заинтересованно скорее не только в её работе как таковой, сколько в ней самой.

Когда она возвращалась из очередной поездки, мы разговаривали у меня дома, иногда у неё. Пили наш любимый грог, будь он неладен... Чувствовали себя нестарыми морскими волками, то есть волчицами. Потом гуляли по нашим улицам, как по палубе адмиральского флагмана, и она рассказывала мне о своих поездках, и мне это было не менее интересно, чем ей, а возможно, даже больше?

Однажды, когда мы проходили под особенно золотистой ниткой, и я пригнулась, чтобы не задеть сохнувшие тельняшки, он посмотрел на меня, именно на меня, и мне это показалось самым необычным в тот день, да разве только в тот?

– Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, – сказал он, глядя почему-то не столько на неё, сколько на меня... Возможно, потому, что я в основном молчала? И ему было интересно узнать, о чём именно я бы сказала, если бы заговорила? Он принялся спорить с нами, и она, как всегда, иронично и немного в меру едко возражала, но видел он, я уже была уверена, только меня, даже когда изредка переводил взгляд на неё, и я постепенно стала привыкать к своему новому качеству. Привыкнув, я тоже заговорила, но без иронии. Она рассмеялась – я не заметила, недовольно или с облегчением, и ушла готовиться к

своим летним зимним гастролям, сказав, что скоро снова зайдёт, и вопросительно посмотрев на меня. Впрочем, я не помню, вопросительно ли...

Зря я опасалась, что нам не о чем будет с ним разговаривать: как ни удивительно, ему было интересно говорить именно со мной, а мне – и это тоже поначалу было неожиданно – с ним, хотя мы друг с другом ни в чём не были полностью согласны. Наше несогласие не было болезненным, оно было приятнее и спокойнее, чем нередко бывает полное согласие.

Забавно, что грог ему не очень понравился – слишком горячий. Старый грог покачал бы головой и списал его на берег, вот и пришлось бы мне пересекать Атлантику в одиночку. Я отхлёбывала из адмиральской кружки, мы спорили, и я спокойно – да, я помню – спокойно думала: «Неужели она ему не понравилась? А если не понравилась, почему же он старается не обращать на неё внимания? Или не старается?».

Я помню: когда мы расписывались, это спокойствие ещё почти не исчезло. Мы шли по подобию дорожки, скрипя снегом, как старый матрос-ревматик суставами, и он держал меня под руку, чтобы один из нас не упал, а то ведь тогда и другому наверняка не устоять. Мы не оборачивались и говорили только друг с другом о его главном северном проекте, а она шла вслед за нами – тоже, как мне казалось, не обращая на него внимания, и, как всегда, едко, рассказывала нескольким спутникам о своём двухнедельном турне, назначенном на середину лета, когда у нас будет середина зимы...

Потом он говорил, что мы вместе не только тогда, когда вместе, но и тогда, когда расстаёмся. Говорил, что постоянно ждёт меня – и до встречи, и после, и когда мы, наконец, встречаемся. Рассказывал мне о своём северном проекте, подробностей постепенно становилось всё больше, и он говорил, что, возможно, к лету – не раньше лета – ему придётся уехать на север хотя бы на несколько дней. И я помню, что тогда было почти спокойно... Безусловно, спокойствие не бывает полным, но всё же мне было спокойно, почти...

Он был не против наших встреч с нею, то есть он никогда не возражал, даже советовал: «Что-то вы давненько не виделись. Сходи к ней или, если хочешь, пригласи к нам». Мы действительно виделись с нею реже, потому что был он. Но когда она при-

ходила, и мы вдвоём с ней готовили и пили грог, сидя на кухне или на мягком диване в гостиной, он уходил к себе и почти не смотрел на неё. Уходил он неизбежно, а её это невнимание, как мне казалось, не то забавляло, не то удивляло – теперь мне это неинтересно, а тогда я много об этом думала... И ещё я думала о том, почему он всегда уходит.

Перед отъездом, в типичную промозглую январскую оттепель, когда моряка выручает только грог в хорошей компании, она зашла к нам попрощаться – на целых две недели. Пообещала привезти бутылку самого редкого рома, чтобы грог у нас получился лучше, чем у моряков Вернона, и сказала, что будет звонить после каждого концерта и рассказывать (она в своём стиле расхохоталась) о заслуженном и потому ожидаемом триумфе. Ну, а если, то есть поскольку, – весело сказала она, – турне пройдёт успешно, они там, судя по всему, захотят заключить с нею длительный контракт.

Мы выпили за это грога, а он на этот раз не ушёл, сидел рядом и слушал нас, но в основном её, потому что, скорее всего, только поэтому – я больше молчала, а говорила она... Смеясь, она сказала, что там бесподобные пляжи, а вода зимой, точнее летом, почти как грог. Что обязательно захочется раскрасить время – но не грогом, в такую-то жару. Вместо грога там предпочитают бесполезный и нескладный – да, именно нескладный – сладко-кислый коктейль с таким же нескладным названием... Загорит везде без исключения, как миллиардерша на презентации или на выданье (особой разницы, – она рассмеялась, – понятное дело, нет), и, возможно, – она снова расхохоталась, – найдёт своё счастье, как нашла его я.

Что-то ещё говорила в том же духе, а я думала о предстоящем её выступлении, и иногда смотрела на него и думала, почему же он на неё не смотрит? Он пожелал ей успешных гастролей и ушёл к себе – как всегда, неизбежно, только сдержанно. Перед уходом она сказала, что в таком зале ещё никогда не выступала, было соблазнительно и страшновато. Мне показалось, что в большей степени страшновато, чем соблазнительно... Или не показалось?

Она уехала. Но почему-то не звонила после концертов, а я не знала, в каких гостиницах она останавливается, и не могла позвонить... Было тревожно за неё, поначалу больше всего из-за разницы климатов...

Через несколько дней он вдруг сказал, что улетает на север, внедрять свой проект. Это было неожиданно для него, но оказалось ещё неожиданнее для меня. Он снова сказал, что мы с ним никогда не расстаёмся, даже когда вроде бы расстались...

Сначала он звонил ежедневно, рассказывал о том, как продвигается работа и какие там холода. Говорил он так образно, что по ночам мне снились деревья, стволы которых трещат и скрипят, как старая проржавевшей кровать, с которой как будто тот самый матрос-ревматик встаёт по утрам и разминает уже почти не разминающиеся суставы. Я скучала по ним, я ждала их, как в детстве подарок на день рождения... Ну вот: я же сама сказала – «их»...

Потом он позвонил, извинился, что придётся задержаться: внедрение идёт не так гладко, как хотелось бы, и работы намного больше, чем он предполагал и поэтому звонить он будет редко. А ему звонить я не могла, связь была – хуже некуда...

Она позвонила только за день до своего запланированного приезда. Необычно громко смеялась, говорила, что в восторге от выступлений и оттого, что они наконец-то закончились. Я зачем-то спросила, предложили ли ей тот самый контракт, и она ответила, что, к счастью, нет, потому что в такую жару лучше загорать под пальмой, чем готовиться к следующему выступлению. Голос у неё был не такой звонкий, как обычно, – не такой, как после адмиральской кружки грога, но ведь о гроге в такую жару не может быть и речи... Сказала, чтобы я, – она произнесла это бархатистым шёпотом, – приготовилась к важным переменам в её, ну, и в какой-то степени, в моей жизни. Таким шёпотом она обычно разговаривала со всеми, кроме меня. Она бархатисто прошептала, что остаётся ещё на две недели, и что мне не о чем волноваться (а я ведь волнуюсь, да?), но расскажет обо всём по приезде, ну, возможно, не обо всём, а только о том, о чём можно рассказать за кружкой грога. Не больше – она загадочно и снова бархатисто хихикнула, – но и не меньше... Потом она сообщила, что загорела, причём везде – совершенно везде! – так что теперь совсем не отличается от местных красавиц, а если и отличается, то, разумеется, в лучшую сторону. И что теперь все принимают её за свою, просто хоть не уезжай...

Время шло. Я была одна, они не звонили... Вот я и снова сказала – «они»...

И я чувствовала, что мой день рождения проходит без подарка, а может вообще не наступить. Что, в принципе, одно и то же...

Они не приезжали и не звонили... И снова – не звонили и не приезжали... Время шло. Говоря точнее, теперь оно постепенно переставало двигаться...

Я ходила по улицам и готовилась к встрече, хрустя снегом, как атлантические акулы хрустят корабельной обшивкой. Я ходила, а вокруг становилось всё темнее. Не знаю, может быть, теперь и на меня кто-то смотрел, я ведь была одна. Возможно, кто-то смотрел и даже – кто их знает? – что-то говорил мне... Но даже если бы и посмотрели, что бы увидели? Они, наверно, не знали, что это не может заменить подарка на день рождения.

Снег сползал с неба замёрзшими капельками недопитого, остывшего грога. Проезжающие машины шуршали шинами по упавшему, тающему снегу, как будто раздавливали конфетные обёртки, но все конфеты на поверку оказывались пустышками...

Может быть, они мне объяснят?

Но я всё равно не пойму, а потом, рано или поздно, мне, надеюсь, станет безразлично. Поскорее бы, пока не стало совсем поздно. Впрочем, и сейчас уже совсем не рано...

Мы с ней были лучшими подругами – единственными подругами, которым вместе было, я надеялась, или уже не надеялась? – не хуже, чем порознь. Ещё я думала, что с ним мы были лучшими – единственными – друзьями... Или уже не думала?

Ну, вот, я сама сказала: «были»...

Перед её приездом совсем стемнело... Сначала я, кажется, не стала отряхивать куртку, разуваться и причёсываться. Посидела в прихожей, чего-то, кажется, по-прежнему ждала...

Потом открыла ей дверь. Мы, наверно, пошли на кухню, да, на кухню... Она потемнела сильнее любой миллиардерши на выданье, и волосы, выгорев, напоминали апельсин... Она говорила, старалась хохотать, но за этот месяц стала, как мне показалось, тише и спокойнее... Я не слышала, что она говорит, хотя, по-моему, она хотела, чтобы я слышала... Вместо этого я ждала, когда же она начнёт объяснять мне то, о чём молчал телефон и нашёптывали конфетные обёртки. Но ключевых слов не было, а слушать всё целиком было сложно... Она говорила и говорила, и у неё не получалось хохотать так, как прежде. Я вскипятила воду

в нашем чайнике, приготовила грог в двух наших адмиральских кружках... Ничего особенного: лимон, сахар, корица, немного рома, но главное, чтобы был кипяток. Без кипятка грог не будет даже подобием грога... Я держала свою кружку двумя руками, и рукам совсем не было горячо – наверно, они замерзли на морозе. Я старалась не запомнить её лицо, забыть, каким оно было, но оно запоминалось, и всё-таки запомнилось мне... Она сидела на одном из наших стульев и пила наш когда-то любимый кипящий матросский напиток. Я держала обеими руками кружку – с таким же кипятком, но ни пить, ни слушать не могла... Она говорила, говорила, говорила, потом почти кричала, потом, мне кажется, плакала, но я не хотела слышать то, в чём нет ключевых слов... Шины под окнами продолжали вдавливать в утрамбованный снег тысячи новых и новых конфет-пустышек. Где-то хрустел белый шоколад, но это было недостижимо далеко, а здесь – снег падал случайно пролитыми, остывающими на лету каплями грога... Я посмотрела на неё, и мне больше всего на свете захотелось никогда не видеть это лицо. Лицо, которое не могло быть моим долгожданным подарком на день рождения... И ещё мне хотелось, чтобы он тоже не видел это лицо... Я держала свою кружку двумя руками, и рукам совсем не было горячо – потому что всё внутри замёрзло, и я неслышно просила мой грог, чтобы он помог мне... А она говорила и говорила, и, кажется, плакала... И потом, после того, что вдруг случилось, она, думаю, тоже, плакала и, возможно, кричала, но это уже не могло иметь значения – ни для неё, ни, тем более, для меня...

... Он пришёл через два дня – нет, не пришёл – его как будто атлантическая волна выбросила ко мне на берег... Плакать я не могла. Просто смотрела и смотрела на него, на его лицо – на его лицо – на его лицо – такое же не загоревшее, как перед отъездом, и щёки были бледные и обветренные. Он тоже не отводил глаз и бессильно молчал – как будто неопытный юнга впервые услышал «Тонем!» вместо долгожданного «Земля!» и вместо того, чтобы броситься на выручку, растерялся, ожидая помощи от тех, кто не мог помочь, потому что уже лежал на дне...

Мелочи потеряли значение, поэтому всё оставалось, как прежде.

В главном же – был он. А её уже не было...

Её больше не было – и уже не могло быть никогда.

Я закончил читать, отложил листы с рассказом и принялся заваривать грог.

– Ну, что ты думаешь? – как всегда неуверенно спросила она, заходя на кухню.

Я поцеловал её и налил грог в адмиральские кружки:

– Твоя фантазия снова не подвела тебя. Метафоры незабываемые, особенно – я с тобой согласен, к сожалению, – конфета-пустышка... Ты пишешь каждый раз даже лучше, чем в предыдущий.

– Как было бы хорошо, – сказала она, почти не улыбаясь, – если бы эта метафора никогда не придумалась... Не люблю конфеты. Их лучше не разворачивать, потому что вдруг внутри пусто...

Я придвинул ей кружку.

– Жаль, что твоя главная героиня чересчур не уверена в себе – от этого, думаю, все несчастья...

Она подумала и проговорила, осторожно отпивая грога:

– Если бы только не уверена... И если бы только в себе... Но, – она улыбнулась, – я обязательно поговорю с героиней. Вполне возможно, твоё замечание будет учтено.

Мы рассмеялись, я закурил адмиральскую трубку.

Мы пили грог, хохотали, болтали и, не произнося ключевых слов, думали о том, сколько должно пройти времени, чтобы акулы оставили корабль в покое...

Я смотрел на неё и в который уже раз убеждался: её лицо не красивее других только потому, что других просто нет и не будет. И старый шрам у неё на щеке – от ожога кипятком – ничего, ни тогда, ни сейчас, не мог для меня изменить.

Михаил Блехман родился в Харькове, окончил Харьковский университет, защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском университете, главный редактор Интернет-альманаха «Порт-Фоллио», член Международной федерации русских писателей, руководитель Канадского отделения Международной ассоциации писателей и публицистов. Живет в Монреале.

Таисия КОВРИГИНА

УТРЕННИЕ ГИМНЫ

* * *

вот новый день. и он – неповторим.
суббота, солнце, жизнь, стихотворенье!
Господь, приходи на чай, поговорим –
про яблочно-янтарное варенье,
про карий мёд и сахарный песок...
как сладко, боже, липко, боже, осно!
и сердце от любви на волосок,
и счастье так бесстыдно и несносно

* * *

мы в лесу, у пруда,
и кругом – лебеда
или лебеди? право, отлично,
что повсюду весна,
что сверкает блесна
и сплетаются ноги в косичку.
улыбнись, оглянись –
как ласкается жизнь,
как пронзителен воздух олений!
но ты смотришь в глаза,
и дрожит стрекоза,
и над нами восходят колени.
мы в раю, где вода,
мы те лебеди, да,
параллельно плывущие в небе?
им ведь тоже, как знать...
тоже трудно... дышать...
мы те лебеди,
лебеди,
лебе...

* * *

мы спим, пока закрыты жалюзи
спина к спине – пираты
пусть плещет солнцем улица вблизи,
но нам не надо

и нам не страшно ничего, пока
мы спим – к стене я, ты – свисая
с постели, и касается рука
ковра и рая

так спим, что это – лучшее в любви
но дети, дети...
умри, любимый! милая, умри
здесь, на рассвете

* * *

Где проснуться, чтобы утро Грига,
чтобы мир доверился, как книга,
распахнулся веером из мига,
воздухом – взхлёб?

Где заснуть, любимый, кем проснуться,
от какого солнца отвернуться,
чтоб соприкоснуться с этой куцей
нежностью и верностью амёб?

* * *

осенний висельник, патиссон
аходишь как всполох лета
ирываешь рассветный сон
на розовый сонм креветок
ть исчезает в дыре дверей
водой отраженный зайчик
с прицелом сбившимся все живей
по стенам холодным скачет

пылится воздух в твоём луче
как будто встряхнули пледы
и месяц яростный пиночет
встает за порогом леды
но сон прозрачен и невесом
зевесовы зерна мечет
мир схлопывается назад в яйцо
опустошив скворечник

* * *

в парке ветер. кто-то деловой
пролетает, зайкая часами,
одуванчики качают головой,
облетая волосами –
вот петух, вот курица... слегка
дунешь, точно в блюдце...
лысинки как тельце паука
остаются.

пахнет свежескошенной травой,
псиной и сырыми небесами.
я иду босая.
одуванчики кончают подо мной.
на холодных стеблях проступают
капли молока.
я иду, ломая и ломая,
потому что – глядя в облака.

* * *

сизжу на облаке нагая
внизу кочуют племена
я постоянно забываю
свои земные имена

и ни зачем и ниоткуда
и никуда и никогда
я покровительница чуда
я колыбельная вода

ВЕЧЕРНИЕ ОТКРОВЕНИЯ

* * *

бытием как лиходеем
извлечен из круговерти
думаешь: душа седеет
в тишине любви и смерти

наполняются минуты
жаждой встречности загробной,
чтобы сукровицей, смутой
вытечь, свертываясь в опыт,

расцветая стройным словом:
и бессонным, и бесполом,
и прекрасным, и спокойным
васильком на скотобойне.

* * *

поэт исходит из пейзажа
и обращается к богам
не говорит ни слова заживо
он только контур ты раскрашивай
когда стихает шум и гам
шлифует стих как бабл-гам

любуется пленером лирик
лелеет свой печальный лик
изнемогая в бренном мире
он поднял бы себя на вилы
да руки пачкать не привык
кладет таблетку под язык

непривлекательные типы
которых с полным правом нет
а слева тлеют медом липы
качели движутся со скрипом
и без особенных примет
в щенячью душу льется свет

* * *

я памятник. себе воздвиг нерукотворный
меня и наблюдал, как зеленеет медь,
как внутренность становится валторной
грубеет, чтоб гудеть.

но птице на плече мерещилось, что живы
мельчайшие тельца:
колеблемы неведомым мотивом
танцуют в честь незримого творца.

* * *

милые и временные лица
невосстановимой красоты
состоят из крошечных частиц
и частицы эти не умрут

где прибор чтоб с ним увеличая
человеков пористых как мох
посмотреть повсюду без печали
думая что так и видит бох

* * *

это только наброски. и счастье – этуод
к полотну дадаиста. и люди, и боги –
то приходят ноктюрном, то как вошку к ногтю
прижимают, хрустя, потому что в итоге
мы развязки хотим, а развязка – одна:
есть скелеты мольбертов, но нет полотна

это только наброски, но время – бросок,
планомерный блицкриг и фашист по натуре.
если хочешь быть выше – вставай на носок,
буратино, и лги, что твой папа не курит
глюкогенной травы и ты все-таки есть –
потому что живешь и считаешь за честь.

* * *

о как ты любишь непрерывно
и как уверенно молчишь
что нужно веровать наивно
в ненаступающее лишь

как истерично я влюбляю
и как проговориться тщусь
о том чего не понимаю
но вспоминаю наизусть

* * *

в ряду случайных замечаний
и агрессивных обобщений –
придворный оползень печали
на счастья обморок пещерный

а за столбцом как за решеткой
двухмерной камеры без птицы –
латинских клавиш отрешенных
союз с загробною страницей

ВЕРЛИБРЫ

* * *

каждое утро
срываю с лица
паутину

и весь день
где-то мечется
маленький паучок

считающий себя
моей душой

* * *

только-только
пространство заполнило
форму твоей усталости

только-только
ты научился угадывать время
с точностью до минуты

только-только
мне стал сниться корабль
на котором ты был капитаном

как вдруг оказалось
что ты уже умер

дедушка

* * *

записали на мокром песке
накатила волна

сложили из ракушек
дети забрали с собой

из камней возводили
ветер засыпал песком

через тысячу лет
сумасшедший прочел нашу тайну
по косточкам рыбы

* * *

ты смотришь так
что я выпрямляю спину

и беру у тебя котенка
чтобы гладить его
по очереди

каждый раз
ты не ленишься
называть меня полным именем

становясь за моей спиной
чуть ближе
чем все остальные

и тогда я вижу тебя
скачущим на своем коне
по своему полю

и чувствую запах теплой полыни
идущий от моего тела

но скачущий на коне
никогда его
не почувствует

* * *

любимый!
назову тебя
Черепеховым гребнем

ты состоишь из гребешка (куши)
и разъемной заколки (доме)
из панцыря морской черепахи
инкрустирован перламутром
в технике Шибаяма
врезка золотых нитей

изящная резьба
двусторонняя роспись

тема: летящий журавль
золотые и белые хризантемы
авторская работа
1880-е гг. эпохи Мэйдзи

* * *

подобно тому
как мысль о лимоне
сморщивает язык

слово
образует во рту
пластмассовый шар
для настольного тенниса

белый гладкий и легкий
почти отвратительный если бы
не шрам и не дырочка
выдающая в нем присутствие

творца
мечтавшего о
сферическом совершенстве

но не сумевшего
не оставить следов

* * *

в будущей жизни
буду верблюдом
мозолоногим
парнокопытным
плацентарным
млекопитающим

хордовым
с неразделенной подошвой
передних конечностей
с длинным хвостом
завершающимся пучком
с изогнутой шеей, большими глазами
с тяжелыми веками
с ушками маленькими, округлыми
скрытыми волосами
с колючкой в губах
и песком Заалтайской Гоби
в ресницах

и тогда обо мне уже будет написано
в энциклопедии – самое главное:
их щелевидные ноздри
способны смыкаться

Таисия Ковригина окончила филологический факультет Вильнюсского университета, докторант Института литовской литературы и фольклора, публиковалась в журналах «Вильнюс», «Провинциальный альманах» (Даугавпилс), «Воздушный змей» (Таллин), «Настоящее время» (Рига) и других изданиях. Родилась и живет в Вильнюсе.

Кристина МАЙЛОВСКАЯ

* * *

Я – такая-сякая! Я – разная.
А в глазах есть восточная грусть.
Православную Пасху я праздную,
Справив Пейсах и сладкий Новруз.

Ах, семья ты моя, многоликая...
Я люблю многокрасочность душ.
Молоканская бабушка кликала:
«Нонче день-та какой? А-а? Христюш?»

Дед по-русски, с трудом, неразборчиво
«Насреддина» мне на ночь читал,
Шашлыками бараньими потчивал,
В помидоры лавашем макал.

А прабабушка туфлями шаркала,
Местечковость в душе сохранив.
Ее дочка за стенкою плакала
От наплыва кавказской родни.

Мне даровано чудо ничейности!
Быть никем – это тоже ведь шик!
Я храню все семейные ценности
В саквояже цветастой души.

Моей бабушке
Ольге Матвеевне

Моя бабушка чтит традиции,
Как индейцы племени Майя,
И даже в страшном сне не приснится ей,
Кто я на самом деле такая.

Я припёрлась к ней больная и нервная,
С котом, из портфеля выглядывающим.
И вроде бы в одного Бога мы веруем,
И вроде бы надо дать мне пристанище.

И вижу, как смотрит на меня она с ужасом
Откуда, мол, ты такая выискалась?
А я скучаю по пьяному мужу
И во сне пью шотландский виски.

И башка моя набита мусором,
Как луком чулок капроновый.
И я слушаю странную музыку,
А ночами читаю Платонова.

Моя бабушка была бухгалтером
И читала журнал «Работница».
А теперь ругается матерно
И пьёт *пустырник* в бессонницу.

Мне найти бы решение верное
И сделать правильно выводы...
Мы любим друг друга, наверное –
У нас нет другого выхода!

Барбекью

Тихий весенний вечер. И я не совсем одна.
Ем шашлыки. По-ихнему, барбекью.
Знаешь, что, милый – налей мне бокал вина.
Я хочу выпить. Плевать мне, что я не пью!
Я хочу выпить за то, что еще жива.
Сумки-котомки. Ребенок. И старый кот,
И сотня книжек. Вот все, что я нажила.
Кто я... Откуда... Куда... И который мне год?
Может, начать исчисление с сегодняшних дней?
Взять и родиться по новой на финской земле?
Сквозь облака улыбнулся мне прадед Матвей,
А дед Загид прискакал на агдамском осле.
Без паспортов и без виз. Просто так. Налегке.
Фрукты. Лаваш. И бутылка сухого вина.
«Деда! Скажи! Что же ждет там меня вдалеке?
Деда! Ты здесь? Я же знаю, что я не одна!»
Вот и мой муж. Правда, бывший. Но все же родной.
С шашкой казацкой. На деревянном коне.
«Выпей, родимый, со мной в добрый час по одной.
Было ли – не было? В жизни? А может, во сне?»
Выпью еще. И откроется дверь в никуда.
Дружно повалит родной разномастный народ.
И побледнеют границы и города.
Самое время начать бесконечный полет...

.....

Милый уснул. И заветрился грустный шашлык.
Кот раздраженно прошамкал мне: «Дура, не пей!»
Он, как и я, знаю, к Питеру больше привык.
Сквозь облака прослезился мой прадед Матвей.

* * *

Толстый финн мне нежно гладит ручку,
На своем бормочет мне о главном.
Он гадает, что же я за *штучка*?
Просто я зализываю раны.

Солнце светит нежно, по-апрельски.
И балтийский берег так прекрасен!
Милый дом. И в клетку занавески.
Добрый финн на многое согласен.

Он готовит сауну, стараясь.
Я лежу на травке, словно пума.
Мне сейчас нужна такая малость –
Просто ни о чем совсем не думать!

Я его однажды съем на ужин.
А пока, любуюсь панорамой,
Я треплю его смешные уши.
Просто я зализываю раны.

* * *

Я сюда вернулась. Вот и славно!
Мы ведь все живем в ладонях Божьих.
Я теперь иду дорогой главной –
Радуюсь, что день без боли прожит.
Сосны мне протягивают руки
И по-фински шепчут: «Терве, терве...»
Мою душу взяли на поруки,
Штопают потрепанные нервы.
Здесь красиво очень! Море. Камни,
Мхом заросшие, как будто бороною.
Странное есть чувство, что пора мне
Затеряться где-то под водою,
Прорасти кувшинкой бессловесной
И прожить одно большое лето...

Уткам здесь совсем неинтересно,
Что была когда-то я поэтом,
Что жила в корявой комнатухе
Жизнью полупьяного замеса,
А с комода Лермонтов и Пушкин
На меня смотрели с интересом...
Все прошло. И сил уже немного.
«Не шалю и почию примус»...
Я дышу, живу и – слава Богу!
Значит, жизнь моя мне не приснилась.

* * *

Я верю в то, что жизнь свое возьмет –
И каждому воздастся по заслугам!
Я также верю в то, что каждый год –
Необходимое звено земного круга.
Я верю, что рождение и смерть
Находятся в одной и той же точке.
И мне совсем не страшно умереть –
Я так люблю, как лопаются почки!
Я просто верю, что замкнется круг –
И к этому я мысленно готова!
Потухнет свет. Замолкнет жизнь. И вдруг...
Внезапный взрыв! И все начнется снова!
Я в вечность жизни верю от души.
Я верю в небо, солнце, снег и ветер!
Я верю в Бога под названием Жизнь!
А также в то, что жил Иисус на свете!

***Кристина Маиловская** родилась в городе Сумгаите (Азербайджан), окончила филологический факультет Волгоградского педагогического университета, живет в городе Пори (Финляндия). Публикуется впервые.*

Константин ВОГАК

ОПЯТЬ ОТЧИЗНА СМУТНО СНИТСЯ

* * *

Не спится мне, опять не спится.
Удушьё, думы и тоска.
Опять Отчизна смутно снится,
И слышен зов издалека.

Но зов далек и так бесплоден,
Звучит упреком он во мне.
Я так устал и несвободен,
Я здесь в неволе. Я в тюрьме.

И не изгнанники помогут
Тебе, Отчизна, в горький час.
У нас и души изнемогут,
Как плоть изнемогла у нас.

* * *

Почти пустые души.
Почти пустая твердь.
Биенья сердца глуше,
Смелее только смерть.

Без веры и без Бога,
Без чувства и стыда –
Убогая дорога,
Кошмарные года.

Повеяло грозою,
Промчался ураган.
Но позднею слезою
Не вызвать светлых стран.

До Бога нам далеко,
И вера в нас слаба.
Но совесть бьет жестоко
Печального раба.

* * *

И всюду-то горе, и всюду обман,
И много гноящихся ран...
И каждый-то мучится, голоден, рван.
Висит надо всеми туман.

Ушли навсегда золотые года,
Не стало пути никуда.
И бродят голодные, злые стада,
Голодная, злая орда.

* * *

Заволокло туманом дали,
Потяжелел веселый день.
Едва заметные печали
На сердце уронили тень.

Легко, легко... Но и тревожно.
Устала мертвенная плоть.
Когда бы только было можно
Печаль и ужас побороть!

Но нет забвенья недостойным,
Везде тревоги и враги.
И далеко ко снам нестройным
Умчали буйные круги.

Забвенья нет, и нет покоя.
Прошедшим только я живу.
И в небо строгое, пустое
Печальным путником плыву.

* * *

Жалей не мертвых, а живых...
Кто умер, тот на лоне Бога.
У тех, кто жив, одна дорога –
И та во власти Роковых.

А Роковые – страх и голод.
И вот усталые сердца
Замкнулись в ненависть и холод
И отмели завет Отца.

Да, те, кто жив, любить не смеют:
Они забиты в душный дым
И вяло, медленно немеют
Пред ликом времени седым.

Не плачь о мертвых. Лучше б было
Еще живущих пожалеть.
Суровый Ангел поднял плеть,
И в страхе смертное застыло.

* * *

Помолись у престола Господня
За несчастных, за Русь, за себя.
Богородичный праздник сегодня.
Приснодева укроет тебя.

Под покровом Владычицы-Девы
Замирает и боль, и печаль,
Замирают проклятья и гнев,
Но становится горько и жаль.

Жаль бывает лишившихся веры,
В ком любовь и надежда мертвы,
Кто несчастлив без счета и меры
И кому не поднять головы.

* * *

Давно я не писал задумчиво и нежно.
Теперь в моих стихах тревога и печаль...
Мне даже прошлого не вспомнить безмятежно:
В нем слишком многое невыразимо жаль.

Ушла задумчивость, мои стальные думы
Упруги и остры, как боевой клинок.
И нежность отошла... Неистовые шумы
Настигли всех, кто тих и одинок.

Теперь пишу проклятья, да молитвы,
Да злые жалобы, да горькие хулы.
Мои учителя – свирепый бунт и битвы.
Боюсь я нежности, задумчивости мглы.

Пускай пожар, пусть молнии и взрывы,
Пусть солнце яркое – не бледная луна.
Я раньше тихим был... Теперь страшны призывы,
Теперь страшна страстей людских волна.

* * *

Я все мечтал. И проходили дни
В мечтании, в молчании, в дремоте.
Но грянул гром, и вспыхнули огни.
Теперь живу в заботе и работе.

Но и теперь державная мечта
Меня порой балует, посещает,
И новых снов святая красота
И труд, и боль, и серость возмущает.

А чуть стихи непетые придут –
Стою опять в сверкании и звоне.
И тонкие сплетения минут
Плывут в прозрении и творческой истоме.

Назад, вперед, и вширь, и вдаль,
И ввысь, и вглубь так ясно вижу
И неотвязную печаль
Тогда люблю – и ненавижу.

* * *

Я не пишу о том, что вижу,
Хоть шумы жизни я ловлю.
Я слишком сильно ненавижу,
Я слишком пламенно люблю.

Любовь и ненависть опасны:
Кровавый огненный туман
Мне застит близи, что неясны,
Мне застит дали, где обман.

Я сквозь туман багровый чую
И кровь, и дым, и крик, и плач.
И я с тобой, беглец, кочую,
С тобой свирепствую, палач.

Я знаю, ждет иное время,
И победит во мне любовь.
Тогда уйдет туманов племя,
И плач, и крик, и дым, и кровь.

Тогда слова и мысли будут,
Тогда размер и слог придут.
Но ум и сердце не забудут
Годов, недель, часов, минут.

Теперь мятусь я, недостойный,
Теперь я каюсь и грешу.
Тогда я глубже и спокойней
О том, что видел, напишу.

И если станет сил и воли,
И если жив останусь я,
Родной земле скажу про боли
И про разгадку бытия.

Публикация
Р.Б. Евдокимова-Вогака

Вогак Константин Андреевич (1887–1938) – поэт, близкий к акмеистам, участник литературного объединения «Цех поэтов», ближайший сотрудник Вс. Мейерхольда по журналу «Любовь к трем апельсинам», переводчик книг по йоге для издательства А. Суворина. Во время первой мировой войны служил в войсках генерала Юденича на Карельском перешейке, где после обретения Финляндией независимости в 1917 году остался на своей даче «Рантахови» в деревне Хотакка (ныне пос. Стрельцово), став эмигрантом. Впоследствии переехал во Францию, где читал лекции по древнерусской литературе. Единственная книга – сказка «Золотая птица» – вышла в США в 1995 году.

Стихотворения Константина Вогака публикуются впервые. Написаны поэтом осенью 1921 года.

Ростислав Евдокимов-Вогак – поэт, прозаик, автор поэтического сборника «После молчания» и других книг, член Союза писателей России и Русского ПЕН-центра. Внучатый племянник К.А. Вогака.

ДВА ЖЕЛАНИЯ

В начале весны ворота стали запирать пораньше. Солнце мгновенно гасло за скальными отложениями на том берегу. Вечер обрушивался внезапно. Всех загоняли в неправдоподобно длинный двухэтажный, беленый гашеной известью Дом.

Было еще холодно, но уходить со двора никому не хотелось. Весна чувствовалась в каждой глотке стылого воздуха. Старики канючили, плакали, не обращая внимания на мат и оплеухи озлобленных санитаров. С молодежью обращались еще грубее. Инвалидные коляски просто забрасывали в узкий длинный холл. Побитые, изъеденные временем стены, с оставшимися зелеными проплешинами краски, встречали его обитателей привычным равнодушием.

Вели на ужин. С каждым днем рацион становился все скуднее. Уже неделю кормили только перловкой и тухлой капустой с кусками каменной соленой брынзы и бледным чаем. Хотя с кормежкой всегда было неважно. К этому все давно привыкли.

Больше всех от скоротечности прогулок страдала Ветка. Но она никогда не возмущалась, потому что научилась радоваться малости. Всю зиму она просидела взаперти, выезжая из комнаты только в столовую. Бороться за колченогую инвалидную коляску – одну на четверых – Ветка не могла. Драки возникали нешуточные. А после того, как Аурика плеснула в лицо Степаниде кипятком, всю комнату лишили прогулок на две недели.

Как всегда, завидовала Ветка Аурике, беспомощно, но торжествующе устраивавшей в кресло свое рыхлое тело! Тяжелая, с ужасным скрипом, коляска победно выкатывалась на кривых, изможденных колесиках из комнаты. Из них четверых только олигофрен Шиза умела ходить. У Аурики ноги парализовало после тяжелых родов, пьяной Степаниде их отрезало поездом. А Ветка родилась такой. Она была самой молодой из обитателей восьмой комнаты. Претендовать на коляску зимой она не могла. За два года, проведенные здесь после детдома, она все еще чувствовала себя чужой.

У Ветки в жизни было всего два желания, но зато совершенно несбыточных: искупаться в Днестре и отыскать своего братика. Вернее, сначала найти брата, а уж потом искупаться. Ветка смутно помнила, что перед тем, как она попала в детдом, мама родила мальчика. Он, наверное, уже большой. Она писала ему письма большими буквами детским старательным почерком и относила Евгении Михайловне, главврачихе. И ждала, когда брат или мама ее навелят. Но никто так ни разу и не приехал.

– Никто к тебе не придет, не надейся, – иной раз снисходила до ответа властная Евгения Михайловна. – Кому такая дебилка нужна?

И Ветка соглашалась: никому. За годы, проведенные в детдоме, она привыкла к равнодушию врачей, презрению нянечек и жестокости сверстников.

– Пишет, пишет, дурочка, – уловила она однажды разговор пожилых санитарок. – Никуда эти письма не отправляють, в ведро летят. А она ждет...

– А что ей в жизни-то остается? Мать, считай, давно под забором сдохла, а брат ейный тоже, наверное, по детдомам кочует. – Верно...

Нет, это не о ней говорили. Она легко себя в этом убедила. Хотя мама действительно все в доме пропила, а Ветка и ее брат родились от случайных собутыльников.

Она представляла, как к ней придет взрослый, сильный, красивый, а главное нормальный брат. «Светка! – скажет он. – Я тебя так долго искал!». Он отвезет ее к Днестру, поднимет беспомощное тело своими мускулистыми руками и осторожно опустит в воду. Ветка физически ощущала прикосновение прохладной быстрой реки к коже. Когда он научит ее плавать, она поплывет сама, не нужно будет инвалидных колясок, чужой помощи, окриков и зуботычин санитаров, она сама выберет направление, какое вздумается. Захотела – налево, захотела – направо! До Днестра было всего метров двести, но ни разу, ни одного разочка, ее туда не отвезли. В Доме устраивали редкие походы на пляж, но только для тех, кто мог сам ходить и передвигаться, не буянил и был послушным. Няничься же с инвалидами никто не собирался.

С началом весны Ветка, когда наступала ее очередь, на тяжелой коляске выбиралась во двор. Она выезжала за открытые ворота, останавливалась у бетонной плиты забора, под табличкой,

на которой коробилась белым на черном надпись «Дом-интернат для психохроников и инвалидов. Село Кочиеры». Рядом стояли или сидели в таких же колясках жители Дома, и, не отрываясь, смотрели на грунтовую дорогу. До нее, этой самой дороги, было всего метра два. Но это совсем мизерное расстояние отделяло ее от другой, нормальной жизни. До нее Ветка было, как до Луны. В той жизни по пыльной дороге на машинах проносились мимо, обдавая газом и презрением, веселые счастливые беззаботные люди. Вдоль берега Днестра тянулись базы отдыха и пансионаты. Люди стремились туда. А город, привыкший к курортному раздолью, московской протяжной речи и пьяной щедрости отдыхающих, кажется, даже не подозревал о существовании Дома. Ветка пыталась поймать на мгновение взгляды проносящихся на беспечной скорости людей. Иногда это удавалось. И тогда лица туристов менялись, улыбка сползала с губ, люди быстро отводили глаза. Психохроники и убогие мешали им наслаждаться жизнью.

Во время прогулок досаждали местные мальчишки. Они дразнили калек, кидали камнями и палками, могли перевернуть коляску. И ничего нельзя было поделаться. Санитары только посмеивались. Хорошо, что случалось это редко.

Но вот опять пришел март, и заведенный, казалось бы, навсегда, порядок, вдруг изменился. Изменились люди, обстановка вокруг, даже тишина стала напряженной и зыбкой. Сначала перестали выводить на поле тех, кто мог работать. Никого больше не отправляли в цех – делать сетки для овощей. Потом из сарайчика в глубине двора исчезли две свиньи. А из красного уголка и холла – два новых телевизора. Остался только старенький ламповый «Рекорд».

– У нас на счету ни копейки, – непрерывно жаловалась по телефону Евгения Максимовна. – Что делать ума не приложу. А чем мне кормить больных? Это вы мне ответьте, кому я принадлежу! – взрывалась она. – Тому берегу или вашему! В селе и так две власти!

Над зданием сельсовета водрузили сине-желто-красный триколор. Над домом культуры хлопал красный флаг. В Дубоссарах все чаще стали слышны выхлопы, похожие на то, как стреляет шампанское. Ветка слышала такие звуки из комнаты санитаров на Новый Год. Мигом обезлюдели все прибрежные санатории,

а дорога вдруг как-то сразу опустела. В селе появились люди в камуфляже, с оружием, на конях, с нагайками.

– У берега роют окопы, – спустя неделю констатировал Семечныч, бывший командир подлодки. Многолетнее пьянство привело к острым приступам хронической шизофрении. Он постоянно извинялся перед врачами за то, что не может поймать человечков, внезапно появлявшихся в разных местах Дома. В высоком статном седом человеке до сих пор ощущалась готовность без колебаний выполнить приказ, и умение нести ответственность за судьбы людей. Бросить пить ему так и не удалось, вино он тайком покупал у сельских жителей.

– Кажись, война будет...

Постепенно исчезал обслуживающий персонал Дома. Многие из санитаров были из местных, остальные жили в Дубоссарах. Дольше всех продержались врачи. Но однажды утром не стало и их.

– С-во-бо-да! С-во-бо-да! С-во-ло-чи! – неся в пять утра по коридорам лихорадочный торжествующий крик Петьки Самоката. У него не было ног по самые бедра, и в свое время он выпросил у мальчишек самодельный самокат на подшипниках, чтобы раскатывать на нем. За это и получил свое прозвище.

– Все суки свалили!

Дом наполнялся встревоженным гулом и лихорадочным движением. Ломали дверь карцера, куда накануне упрятали буйного. Безотказную хохочущую Любку три дауна, истекая похотью и слюной, повели в комнату. Пока была власть, любовь в Доме пресекалась и каралась мгновенно, влюбленных сразу разлучали и переводили в другие Дома. Кто-то взламывал двери аптеки и кабинета главврача.

Ветка не могла усидеть на месте, но Аурика уже куролесила на коляске по коридору. Поэтому она подтянулась к краю кровати и стала потихоньку сползать на пол. Путь до двери по исхарканному, выщербленному полу предстоял неблизкий. Помогая себе здоровой рукой, она подтягивала к животу сначала другую, изувеченную руку, затем маленькие скрюченные неподатливые ножки. Потом опять: руку выбросить вперед, затем – другую, подтянуть искалеченные ноги...

Такого она никогда не видела. Блаженные носились по коридору, круша все на своем пути, выламывая все двери. Из сосед-

ней палаты слышалось возбужденное мычание «овощей». Кого-то уже с надрывом били головой о стену... Вдруг Ветка увидела Семеныча. Сначала она его не узнала. В конце коридора стоял военный – в красивой черной форме, в погонах, с галунами на рукавах кителя и лакированных, начищенных до блеска, ботинках. Вытянутый вверх околыш фуражки делал его лицо суровым и мужественным. По щекам катались желваки, в руках он держал двустволку завхоза, поднятую к потолку. Раздался выстрел.

– Ти-хо! – зычно перекрыл хаос Семеныч. – Всем тихо!

Наступила тишина. Все застыли на месте. Семеныч опустил ружье и стал говорить уже негромко.

– Значит, так! Бардак отставить! Мы теперь в свободном плавании, но беспорядка я не допущу!

– А т-ты кто та-кой? – протяжно затянул уголовник Сулима. Он пошел вразвалочку к Семенычу, выбросив вперед исчерканную синей тушью руку с разбросанными в разные стороны пальцами. – Власти захотелся? Воля сичас! Понял, красный?

Семеныч с каким-то даже безучастным видом опустил на голову рецидивиста приклад. Тот вдруг заматерился тоненьким голоском, прижимая руку к темени. Из-под его узловатых пальцев закапала кровь.

– Все приводим в порядок! Сейчас же! – Семеныч цепко окинул взглядом стоящих в коридоре. – Назначим дежурных. Всем, кто не в состоянии самостоятельно одеться, помогают другие. Трое идут со мной в столовую, посмотрим, что осталось из еды. Готовим завтрак. Работаем вместе! Увижу, что кто-то кого-то обижает... – он погрозил дулом ружья. – Смотрите у меня! Все делаем в темпе! Аврал! По-моему, на улице что-то затевается...

Все разом зашевелились, больные бросились исполнять приказ человека в форме. У них, у психов, подчинение было в крови, оно вбито в их головы многолетним матом санитаров и неизбежным наказанием за малейшее непослушание. На кухне почти ничего не осталось. Перекусили вчерашним хлебом и чаем. После этого всех неходячих вывели во двор. Отперли ворота, и Семеныч шагнул на улицу. Остальные пытались высмотреть, что же там творится.

На улице никого не было видно. Лишь во дворах суетились люди, перетаскивая в подвалы скарб и еду. Слышен был лишь автоматный треск, перемежавшийся одиночными выстрелами.

– Так, вы двое со мной, – кивнул головой Семеныч своим соседям по палате. Люди выскочили и понеслись огородами вниз к Днестру. Странно, но остальные остались во дворе. Никто не шевельнулся и не попытался выбежать на улицу. Напряженно слушали отдаленную стрельбу. Над ними низко пролетел самолет. Ветка сидела на крыльце, ей ничего не было видно, но стало страшно. Незнание пугало. Рядом сидела Степанида и протяжно выла.

Семеныч вернулся через полчаса.

– Значит так, – начал он громко, обращаясь ко всем. – Там, – он показал рукой на Днестр, – начинается заваруха! Сидим тихо. Самых тяжелых и больных прячем в подвале. Остальным – лопаты в руки, и копать окопы. Будем прятаться! Не дай Бог обстрел. Быстро! Ко мне обращаться по имени – отчеству: Николай Семенович! Поняли!

«Овощей» и самых убогих сгрузили в тесный подвал. Кто мог, копал ямы. Семеныч дежурил на улице. Ветка продолжала сидеть на крыльце. Так прошло несколько часов. Послышалась сначала редкая, а потом все более учащающаяся канонада. Затем – отдаленные взрывы.

– Всем в укрытие! – скомандовал вбежавший во двор Семеныч.

Всех неходячих понесли в окопы. Подхватили и Ветку. Не особо церемонясь, ее больно кинули на дно ямы. Рядом упала Степанида. Ветка лежала лицом вверх и смотрела на свинцовое небо. Там барражировал маленький, похожий на детский, самолетик. Постепенно он увеличивался в размерах, и Ветке казалось, что он летит прямо на них. Что-то черное отделилось от самолета и стремительно понеслось к земле. Раздался протяжный истощный гул, а затем вдаль что-то заухало. Канонада продолжалась. Под Веткой затряслась земля, а с насыпи посыпался песок. Степанида, ни на секунду не останавливаясь, продолжала протяжно выть. Не выдержала и Ветка: навзрыд заплакала. Плач слышался и из других окопов. Вдруг прямо во дворе, метрах в пяти от них, в небо поднялся черный глинистый столб, осыпав всех земляной крошкой. Ветка почти перестала слышать. Только ощущала всем телом дрожь земли.

Когда это закончилось, Ветка не смогла бы сказать. Ей казалось, что лежит она здесь, на дне этой ямы, маленькая и безза-

щитная, всю свою жизнь. Ей хорошо и безопасно. Ее убаюкивают небо и мысли о брате, который придет и спасет ее. Это успокаивало.

Наконец, чьи-то руки грубо подняли ее и Степаниду и понесли к крыльцу. Ветка не удивилась, что уже стало смеркаться. Семеныч стоял неподалеку и о чем-то негромко говорил с усталым военным в грязном камуфляже. Усталость чувствовалась даже в его руках, лежащих на автомате.

– Не пойму я вас что-то, Николай Семеныч, – говорил тихо военный. – Через полчаса сюда войдут *они*. А вы в форме. Вас могут не пощадить. Вы ведь вполне здоровый, да к тому же военный человек! Идемте лучше с нами!

– Нет, извините, товарищ капитан! Эту форму я кровью заслужил. Никто не вправе ее снять. Может, только с мертвого... – покачал головой Семеныч. – Как же я их брошу? – Он кинул взгляд, как показалось Ветке, прямо на нее. – Они же беспомощны, пропадут. А так еды раздобудем... Как-нибудь проживем...

– Зачем они вам? – с жалостью посмотрел на Ветку капитан. – Это же умалишенные. Их и так не тронут... – он только махнул рукой. – Смотрите, как знаете...

– Нет, спасибо, капитан. Я с ними останусь.

Военный ушел. За забором слышалась лихорадочная возня. Ревели моторы, и слышался топот ног. Спустя десять минут все стихло.

– Ну, что ж, орлы, идем есть, – грустно улыбнулся Николай Семеныч.

Опять неходячих понесли в столовую. Голод особо не ощущался, но Ветка жадно жевала черствый хлеб. Семеныч за столом сидел один и неторопливо прихлебывал чай. Ружье лежало рядом. Ветка заметила, как судорожно сжимались его пальцы, кончики которых – в кулаке – доставали до обшлагов черного кителя. Ветке почему-то было его очень жалко. Опять защищало глаза, но она сдержалась.

На улице слышались крики, в коридоре раздался фальцет победного улюлюканья. В столовую ввалилось несколько грязных, небритых военных в засаленных фуфайках и бушлатах, кое-кто был в обычной одежде. Все были пьяны. Один из них – плотный среднего возраста бородач, цепким тяжелым взглядом ощупывал каждого сидящего в столовой. Семеныч, перехватил

двумя руками двустволку, поднялся и подошел к ним.

– Что вам угодно?

– А ты кто? – нагло влез вертлявый, с остренькой крысиной мордочкой, парень в бушлате и кедах. – Ту чине ешь? Окупант рус? Ворбешть ромынэ?*

Семеныч на него не обратил никакого внимания.

– Здесь больница, тяжелобольные люди. А вы врываетесь, пугаете их...

– Аич сунт порчь рушь!** – опять закричал вертлявый и со всего размаха ударил Семеныча кулаком.

Семеныч упал, больные повскакивали со своих мест:

– Что с вами, Николай Семеныч!

Моряк поднялся, подобрал винтовку, поднял вверх руку в успокаивающем жесте: мол, все в порядке, и резко навел ствол на Крысу. Непрошенные гости попятились, а вертлявый очумело уставился на дуло.

– Во-первых, извольте извиниться, – с достоинством начал Семеныч. – Во-вторых, разрешите представиться, – он щелкнул каблуками. – Николай Семенович Побегаев, капитан второго ранга, что приравнивается к войсковому званию «подполковник». В-третьих, попрошу вас очистить больницу!

Наведенный ствол оружия явно наводил пьяных визитеров на определенные мысли.

– Лиништеште – те!***, – бросил бородач Крысе и повернулся к Семенычу. – Извините нас за вторжение. Мы сейчас уйдем, – и извиняющимся тоном, разведя руки в сторону, добавил:

– Ищем оставшихся сепаратистов.

– Здесь только больные! – ствол ружья поплыл вниз. Семеныч стал успокаиваться. – Сумасшедшие и инвалиды. Здесь дом-интернат...

– Знаем, – перебил его главный и поднял руки. – Знаем! Ничего плохого мы вам не сделаем. Но, – он с иронией посмотрел на Семеныча. – Вы-то здесь кто?

– Такой же больной, – смутился капитан второго ранга. Его щеки зарделись. – Так получилось...

– Значит, вы не имеете права на ношение огнестрельного

* Ты кто? Русский оккупант? Говоришь по-румынски? (молд.).

** Здесь русские свиньи (молд.).

*** Успокойся (молд.).

оружия, – констатировал военный. – Мы – представители законной власти Республики Молдова! Моя фамилия Гуцу, капитан Гуцу. Я – командир роты дивизии «Штефан чел Маре»! Приказываю вам: сдайте оружие! Обещаю, что никаких санкций к вам применено не будет! Попрошу вас!

И он требовательно протянул руку. Семеныч заколебался на мгновение, но решительно протянул ружье капитану. Тот взял его.

– Бине’, – он повернулся к своим.

Ветка заметила, что его лицо сделалось жестким, а взгляд – ледяным. Он приказал:

– А ыл импушка!”

Радостно сверкнули глаза вертлявого, он лихорадочно передернул затвор, и сухой треск автоматной очереди перерубил Семеныча. Тот качнулся и рухнул на грязный кафельный пол столовой. Из-под парадного кителя ужом потекла черная струйка. Фуражка Семеныча откатилась к ногам капитана, и бородач небрежно пнул ее сапогом. Именно этот жест привел в движение столовую. Все завизжали и бросились на военных. Но первой успела Аурика. С истошным криком она врубилась коляской в пах бородачу. От боли тот вскричал и согнулся пополам. В военных полетели стаканы и стулья. Раздались выстрелы, но они уже не могли остановить психов. Ветка кричала вместе со всеми и пыталась схватить стакан, чтобы бросить его во врагов. Ей это не удалось.

– Плекэм! Ей сунт болнавь!*** – закричал капитан своим, и те поспешно, отстреливаясь, исчезли в коридоре. Ходячие бросились за ними. Вдалеке затих топот ног. Наступила давящая тишина. Инвалиды переглядывались и осматривали разгромленную столовую. Ветка увидела в разных местах несколько неподвижно лежащих людей, а у дверей, недалеко от Семеныча, – перевернутую коляску. Рядом, неестественно выгнувшись, с раскинутыми, как у куклы, ногами, притулилась Аурика. Из уголка рта вытекала струйка крови.

«Главное, коляска», – подумала Ветка. Она быстро и, как ей показалось, ловко упала на пол и поползла к дверям.

* Хорошо (молд.).

** Расстрелять его (молд.).

*** Уходим! Это же больные! (молд.).

– Главное, коляска! – безостановочно бормотала она, ползая вперед. Сначала одна рука, затем другая, изувеченная, потом – подтянуть ноги... Она ползла, ползла мимо осколков посуды и луж крови, мимо сломанной мебели и трупов, мимо сидящих инвалидов и кусков хлеба... Плакала, но ползла. Плакала от жалости к Семенычу и Аурике.

– Главное, коляска, – шептала Ветка, хотя сейчас она была готова все простить Аурике – ее тяжелую руку, вздорный характер, изумляющую наглость и неудавшуюся жизнь.

– Главное, коляска!

Она плакала, размазывая слезы здоровой рукой, от жалости к себе, потому что поняла: брат к ней вряд ли когда-нибудь придет. Вряд ли когда-нибудь она, и все вокруг, еще хоть раз почувствуют себя способными к самостоятельным и решительным действиям. Ветка поняла, что главное событие в ее короткой жизни уже произошло. Вряд ли она когда-нибудь станет умнее, понятливее и мудрее, чем сегодня. Вряд ли когда-нибудь у нее будет семья, любовь, дом и друзья.

Когда Ветка доползла, наконец, до коляски и положила на ребро спинки здоровую руку, она плакала уже от облегчения. Оттого, что ужасный, трудный путь остался позади, от того, что у нее будет своя коляска, которую она заслужила, и никому никогда не отдаст, оттого, что ей теперь достанет смелости и силы доехать на ней до Днестра и поплавать в быстрой прохладной реке, оттого, что все страшное уже кончилось – впереди длинная унылая жизнь в Доме. Оттого, что иллюзии развеялись вместе с запахом автоматного пороха.

Она понимала, что это хорошо: так ей легче будет жить. Но прощаться с иллюзиями в двадцать лет ой как не хотелось! И Ветка, раскачиваясь из стороны в сторону, истошно, по-бабьи завывала.

Леонид Рябков окончил факультет журналистики Кишиневского университета, публиковался в альманахах «Венок Есенину», «Время прозы» и других изданиях, лауреат ряда литературных конкурсов. Корреспондент газеты «Комсомольская правда в Молдове». Родился и живет в Кишиневе.

БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

Улеглась она за полночь, чтобы поменьше времени провести в дрёме или бессоннице. Привычно, при укладывании своего небольшого исхудавшего тела в постель, закружилась голова. Она прикрыла веки, чтобы головокружение прошло побыстрей. Наконец, полегчало, и можно было открыть глаза в темноту. В ногах, где обычно пристраивался Бонька, было непривычно прохладно, и Роза Наумовна ощутила слезный прилив.

– Не смей, не расклеиваться, всё равно ничего не поделаешь и ничем не поможешь ему, моему малышу, – рационально объясняла-утешала она себя, слёзы же помимо воли заливали щёки...

И всё ей припоминалось, что когда собиралась покидать родину, то как пришлось оформлять множество документов и на беспородного, на дворняжку Боньку, и как прожили они здесь вместе, в маленькой социальной квартире в южногерманском Фрайбурге последние одинокие свои годы. Как выгуливала она его, так и не привыкшего к поводку, и тихо, чтобы не услышали другие собачники уговаривала своего любимца: «Ну, Боничка, подожди немного, вот сейчас придём домой и там я сниму с тебя поводок». И он, внимая, повиновался ей, и безропотно шёл. И тот дикий случай, когда Бонька поднял лапку у газона, а какая-то пожилая немка что-то, не понимаемое ею, Розой Наумовной, истерически кричала и показывала на железный щит, на котором была нарисована испражняющаяся собака, перечёркнутая диагональной чертой. Старуха кричала и вослед им, что-то про русских варваров...

Роза Наумовна шла с виновато опущенной головой, и Бонька тоже будто бы чувствовал себя опозоренным. И побрели они прочь, а если бы у обоих были силы, то и побежали б что есть мочи...

Острое чувство вины перед собакой снова, как и тогда, когда впервые она не смогла его вывести сама, охватило её. «Всё это треклятое позиционное головокружение, – плакала она, – в придачу с вестибулярным невритом».

Как однако были недовольны сын с невесткой и внуками, все жившие неподалёку, что им приходилось выгуливать Боньку. Если б ещё пёс был хоть какой-нибудь да породы, упрекали внук с внучкой, а то ведь неудобно им водить на поводке неказистую дворняжку. К тому ж, всем им было некогда, и оттого перед ними Роза Наумовна испытывала смущение за свою хворь.

Хорошо, хоть стала служба по медицинскому уходу приходить к ней, и она за какие-то, подчас и небольшие деньги, упрасивала кого-нибудь из приходивших к ней вывести несчастную собаку, не выгулять даже, а просто, чтобы та смогла облегчиться... Сама Роза Наумовна и с палочкой ходить уже не могла, она только лишь толкала впереди себя тележку, за которую же сама и держалась.

Но вот неделю назад, перед ночью приключилась с Бонькой беда, самая настоящая беда. Он не лёг, как всегда, в ноги своей старой хозяйке, а начал визжа крутиться вокруг собственной оси... Перепуганная Роза Наумовна позвонила сыну. И тот, хоть и был недоволен, но приехал. Забрал задыхавшегося Боньку к ветеринару. Плачущей матери заметил: «Успокойся, ветеринария у немцев на высоте, так что не волнуйся!» Розе Наумовне очень бы хотелось поверить в сыновы слова, да почему-то не верилось.

Через час позвонил сын и объяснил, что он оставил собаку у ветеринара, тот положил его под капельницу, в барокамеру. И снова начал попрекать её тем, что предупреждал о том, чтоб не брала с собой в эмиграцию эту дворнягу, и кто знает, во что ещё обойдётся ему лечение этой псины. Он и не думал скрывать от матери своего недовольства... Плачущая Роза Наумовна попыталась заверить, что она всё ему оплатит из своего пособия по старости, да не тут-то было. Сын даже не захотел выслушать её, он просто положил телефонную трубку и в ухо Розе Наумовне понеслись частые отбойные гудки.

На следующее утро оказалось, что пёсику лучше не стало. И на предложение усыпить животное сын дал своё согласие. «Пойми ты, – сочувствовал он матери, – Бонька твой был уже не жи-

лец. Врач мне объяснил, что у него от старости стал непригодным вестибулярный аппарат. А животные, потерявшие чувство равновесия не могут жить. Поэтому усыпление было вызвано жизненной необходимостью».

Роза Наумовна молча только кивала головой, она не могла говорить, боясь расплакаться и тем вызвать неудовольствие сына. А думалось ей в те минуты только одно, ведь и у неё, наверное, тоже из-за возраста были неполадки вестибулярного аппарата, и оттого всё вокруг вращалось и вращалось, тошнило, и хотелось рвать, а часто она и рвала. А хотелось ей одного: чтобы и её, как и её животное, тоже усыпили, и ничего б тогда не знала и ни от чего б не мучилась. Но говорить про это она не решилась.

Нынче, днями, после Бонькиного ухода, после бессонных ночей Розе Наумовне дремалось, особенно после напряжения, после еды, которая вдруг превратилась в тяжёлую работу! А сама еда-то была вроде «детского питания», пюрированная, в основном. Больше всего полюбила она завтраки овсяной кашей. Мелко смелотую овсяную крупу не приходилось даже варить, она просто заливалась кипятком, и через пять-семь минут её уже можно было есть. Она долго держала во рту эту кашу, как гурман, наслаждаясь её вкусом.

– Знаешь, Олечка, – как-то сказала она внучке, случайно забежавшей к ней, – если бы мне когда-нибудь сказали, что я предпочту овсянку какому-нибудь деликатесу или салату «оливье», например, я б не поверила. А вот поди ж ты!

Юная девушка недоверчиво смотрела на неё...

Да по-другому, иному, всё было теперь в её существовании. Словно младенец, перепутавший день с ночью, она бодрствовала ночами, чтобы потом почти непрерывно дремать днём. Ночами, когда не спалось, вспоминалось прошлое. «Наверное, потому всё припоминается и припоминается, – часто говорила она громким шёпотом в темноте, – что нынче, после переезда в эту самую Германию, у меня никаких контактов ни с кем нет. Был один Бонька, да и того не стало. Там хоть и жили вместе в одной квартире, тяжело казалось, тесно, разъехаться хотели, жильё разменять, да вместо этого вот сюда приехали. Теперь у всех, даже у внуков свои квартиры, а что толку-то, все друг другу точно чужие. Никто друг о друге и знать-то особо не хочет. У каждого всё своё. Может

оно и современно, может и правильно, да только видно не для меня. Наверное, потому, что уже старая, зажила на свете. Хорошо Лёвочке, – вспоминала она своего покойного мужа, – умер себе мгновенно, от инфаркта 56 лет от роду, и хорошо ему, душе его.... Вот уж кто не знал ни остеопороза, ни артроза, ни остеохондроза, ни тем более этого проклятого головкружения. Вот всем хочется жить долго, да как-то люди не думают ни о болезнях, ни о специфически старческих недомоганиях... Об Альцгеймере, Паркинсоне, о старческом маразме думать никому не хочется. А самое страшное – эта ужасающая беспомощность. Впервые помнится, я ощутила её, когда не смогла стать на табуретку, чтобы снять со шкафа обувную коробку. Именно тогда мне и пришло в голову, что дурацкая поговорка “Старость не радость”. Ведь на самом деле, старость – это жуть, это настоящая жизненная трагедия человека, что ещё не умер, но уже и не жив! И ничего ж поделать нельзя, – она даже всплеснула руками. – Как это поэтесса правильно выразила:

Себе сединами светя,
Я и себе не обещала,
Что буду вечное дитя.
Но всё ж неловко мне невольно,
Всем увяданье очевидно.
Я знаю – почему так больно,
Но почему так стыдно, стыдно?» *

Размышления о старческой немощи навели её на мысли о детской беспомощности, примерещилось ей, что снова она укутывает в пелёнки сыночка, а потом и внучку, и внука... Но неожиданно ясное осознание того, что дети вырастают и становятся большими и сильными, а ей предстоит лишь ещё большая болезненность, а может быть даже неподвижность повергла её не в отчаяние, нет, а в бессловесный, тоскливый ступор...

Внутренний вопль вернул её к поискам выхода из всей этой безнадеги: «Нет, нет и нет, правы немецкие психологи, нужно вырабатывать в себе позитивное мышление, нужно отбрасывать всё тёмное, ужасающее, и культивировать, самой растить в себе радостное сознание, хотя бы просто оттого, что ты уже пришёл

* Из стихотворения Елены Шварц.

в этот мир, что можешь, пусть и слезящимися, вечно красными глазами, но *видеть* и солнышко, и зелёную листву, и птиц в их непостижимом полёте... Да чудо просто жить на свете, надо быть благодарной хотя бы за это...»

И начала Роза Наумовна перебирать те, не столь уж частые в её жизни события, которые считала она когда-то счастливыми. На душе и вправду будто полегчало... Вот дошла она и до переселения всей своей семьи на жительство в Германию. Стала припоминать, что ж хорошего-то было с нею уже здесь? К чему-то припомнилась чья-то, кого-то наверняка из великих, фраза, про то, что «язык больше, чем кровь». И внезапно она словно «услыхала», как та женщина, уже пожилая, уже старуха-немка кричала на неё и на Боньку, что они – *русские!* Она не знала, что радостная улыбка раздвинула её губы. «Счастье приходит, когда его и не ждёшь», – совершенно разулыбалась она. Ведь всю немаленькую жизнь, из-за своей характерной семитской, откровенно еврейской внешности страдала Роза Наумовна *там*, и внезапно *здесь* она оказалась – *русской!*

– Да ради одного этого, – уже громко сказала темноте Роза Наумовна, – стоило приехать!

Инна Иохвидович родилась в Харькове, окончила Литературный институт имени Горького, публиковалась в периодике ряда европейских стран, а также в переводе на украинский и немецкий языки. Автор нескольких прозаических книг, в том числе книги «Скорбный лист» (2010). Живет в Штутгарте.

МЕСТ НЕТ

А.С.

Тесное старое кладбище закрыто для захоронений уже много лет назад. Пустоши вокруг зарастают кварталами новостроек. Здесь должно быть тихо, грустно и немного торжественно.

Тихо...

Прислушался. Как ни стараюсь, но грусти и торжественности нет во мне и в помине. Зато определенно присутствует ощущение выполненного долга. Потому что я дал себе слово: в этой поездке на родину побывать на могилах родных. И вот – выполняю, хотя график встреч с памятными местами города и друзьями молодости весьма напряженный (то бишь, происходят ежедневные пьянки), а посещение этого места – дело отнюдь не радостное. Но дал слово...

День красивый, осенний, солнечный, а тут, после долгих дождей, что шли несколько дней и ночей подряд, прохладно и сыро. Так и должно быть, не правда ли? Вполне соответствует и месту, и моменту.

Бродим по ржавой листве с одним из близких друзей, который (низкий ему поклон) любезно согласился побывать здесь незадолго до моего приезда, и заранее разыскать могилы моих бабушек, дедушек, теток и добрых соседей. В руках у него рукотворная карта с пиратскими значками: кривое дерево, водопроводный кран, свалка старых венков, вот сюда, в этот ряд, здесь повернуть, отсчитать восемь оградок и...

Здравствуй, дедушка Марк. Ты выглядишь очень хорошо на этой фотографии в старомодной овальной рамочке за стеклом. Именно таким, каким я тебя помню. Да, я понимаю, что ты меня не узнаешь, я и сам себя иногда не узнаю, но все-таки – это я, и никто другой. Так получилось, что мы теперь так далеко от тебя, даже сразу и не объяснишь, почему. Впрочем, ты, наверно, зна-

ешь. Как тебе не знать, после отсидки в пятьдесят восьмом? И еще одной, покороче, в шестьдесят пятом? Нет, Боже упаси, политика тут ни причем: если бы политика, тогда это было у тебя намно-о-го дольше... Бухгалтер – он всегда виноват, когда надо найти кого-то крайнего.

Здравствуй, бабушка Софа. Твоя фотография немного потускнела, но ты тоже выглядишь хорошо. И маленький памятник такой чистенький. Мои друзья привели здесь всё в порядок, аккуратно покрасили заборчик и скамейку. Это так здорово, что у меня остались преданные друзья. Ты же знаешь, что такое друзья, у тебя в друзьях была вся наша Харьковская улица. Ну, конечно, не волнуйся, я возместил им расходы на такси и замечательную изумрудную краску для скамейки... Если бы я мог возместить им любовь и заботу! По крайней мере, обещаю тебе, я буду стараться. Да, моя жена еще не забыла, как варить борщ и делать для детей куриные котлетки, а в толстом коричневом блокноте, запачканном мукой лет тридцать назад, у нас даже сохранились рецепты «наполеона» и «сметанника», записанные твоей пухлой рукой. Впрочем, это уже другая жена. Нет, и не та... еще другая. Следующая. Давай переменяем тему. И детки... теперь они с большим удовольствием едят «суши» и «тирамису». Ты, конечно, не знаешь, что это такое, и я не смогу тебе объяснить.

Здравствуй, тетя Лиза. Впрочем, я никогда не называл тебя тетей, просто Лизой. И настоящей тетей ты мне не была, а только одинокой соседкой моих родителей по коммунальной квартире – столько лет, что стала членом чужой семьи. Нет, я уже давно не собираю марки. Может быть, «евро»... шучу. Твой кляссер с острым клеевым запахом и набором марок, посвященных революции, пятилеткам и космонавтике одной страны, до сих пор хранится в книжном шкафу моего дома в другой стране. Я помню, как божьей коровкой ты ползешь домой после службы, с сумкой в одной руке и авоськой – в другой. У тебя было больное сердце и единственный в нашей коммуналке партбилет. Мне кажется, я довольно часто слышал, что, когда мама спрашивала тебя: «Лиза, опять поздно?», ты тихо, с достоинством отвечала: «У нас было собрание». Хотя, может быть, мне только кажется, что я это помню...

Мы посетили всех моих, кого смогли найти. Ценная пиратская карта аккуратно сложена и помещена в карман друга. Он обе-

шал изредка приходиться сюда, навещать и передавать приветы, полученные от меня по электронной почте.

На центральной аллее, уже перед самым выходом (там, где старые памятники заслуженным людям и городским начальникам), мы, не сговариваясь, останавливаемся перед высокой, явно свежей, вертикальной плитой из черного, зеркально отполированного гранита. На ней четко выбита серая фигура молодого человека, размером гораздо больше натурального. Он отображен по фотографии: во весь рост, с поднесенным к уху мобильным телефоном – плотный, коротко остриженный, в широком пиджаке, сурово беседующий с кем-то, глядя поверх наших голов.

Я даже оглядываюсь назад: куда это он смотрит? С кем беседует? Не увидеть.

Мой друг пожимает плечами:

– А говорят, что закрыто – мест нет...

Из города моей юности не летают самолеты в ту, другую страну, где я теперь живу, и мне приходится возвращаться через столичный аэропорт. Я должен добраться туда на автобусе и одну ночь провести в гостинице аэропорта, потому что мой рейс отправляется в полет ранним утром. Всю дорогу автобус почти пуст, но в неблизком восьмичасовом пути меня сопровождают старомодные овальные фотографии, памятные места, изумрудная скамейка, ржавая листва и преданные друзья молодости, с которыми я опять расстался. Теперь, может, надолго. Или на очень долго.

Автобус прибывает поздно вечером, и в вестибюле гостиницы, не здороваясь, на меня вопросительно смотрит холодная молодая женщина, сидящая за стойкой.

– Нет, – уверенно отвечает она на мой вопрос, и мелкие ключице льдинки сыплются вместе с этим словом на полированную деревянную поверхность перед ней, – мы не можем вас поселить, у нас нет мест. – Она делает многозначительную паузу. – Возможно, в двенадцать что-то прояснится...

Над ее головой скучные электронные часы показывают «11:05».

Несколько обескураженный тем, что в двенадцать что-то, возможно, не освободится, а только прояснится, я послушно усаживаюсь вместе со своей увесистой дорожной сумкой на уз-

кий диванчик в углу и начинаю пялиться на красные светящиеся цифры. Неторопливо они преобразуются в «11:06», потом в «11:07». И так далее... пока не изображают: «11:45». За это время в холле не показывается ни один постоялец, девушка ни разу не говорит по телефону, а только периодически украдкой поглядывает на меня (а я – на нее).

Наконец, глядя в стол, она неохотно выдавливая: «Давайте паспорт». Я достаю синюю книжицу и замечаю, как резко меняется выражение молодого лица уже при беглом взгляде на золотистый крылатый герб обложки... Мне даже становится ее жалко – так растерянно начинают суетиться густо обведенные тушью, в общем-то, привлекательные глазёнки. Моя русская речь с местным говорком и сермяжная джинсовая одежда сыграли с хозяйкой гостиничного холла (чуть не сказал, Медной Горы) нехорошую шутку: она не признала во мне «иностранца»!

Ошибка искупается мгновенным оформлением – девушка собственноручно заполняет нужные бумажки и отправляет меня на заслуженный отдых в недорогой люкс. Я начинаю подозревать, что в гостинице полным-полно свободных номеров.

Я уже подхожу к лифту, когда входная дверь за моей спиной выпускает в холл очередного претендента на уют и покой, и знакомый ледяной голос, на этот раз наверняка опознав соотечественника, сообщает:

– Мест нет.

Семен Каминский родился в Днепрпетровске, автор книги «Орленок» на американском газоне», член Международной федерации русских писателей, живет в Чикаго (США).

Игорь Джерри КУРАС

ДОРОГОЙ ГАЛСТУК

Есть у меня на работе приятель Ник. Настоящее его имя Джо-зеф, мама называла его Джои, а бабушка – Джузеппе, но сам он себя зовет Ник, а значит ему, как элиотовскому коту, виднее.

Ник – итальянец из сицилийской семьи. На работу он всегда ходит в какой-то странной одежде: в чем-то похожем на хоккейную форму, выкрашенную в черный цвет. На голове его абсолютно очевиден парик (никто не видел его без парика, но все предполагают обширную лысину), живот его выпукл, да и сам Ник идеально кругл. Ник – отдаленный родственник известного на весь мир мафиозного клана. В «семейных» делах он участия не принимает, но почетно присутствует на всех похоронах и свадьбах.

У мафии своя жизнь – свои разборки. Что и почему там происходит – ни нам, ни Нику не докладывают, но по странным причинам, похорон в жизни Ника было больше, чем свадеб.

Ник человек небогатый. Живет от чека до чека, да деньги на старость копит. Если же на похороны или свадьбу идти надо – он костюм в прокат берет, а галстук – покупает, а потом обратно сдает. Галстук должен быть хорошим. Это святое.

И вот на очередной разборке убивают очередного братка. Дело привычное. Ник берет в прокат дорогой костюм и покупает в кредит в дорогом магазине дорогой галстук с целью вернуть его обратно после похорон.

Открытая могила – вокруг толпа скорбящих. Поминают... Ник изображает суровую скорбь – без слез, но прочувствованно, с пониманием важности церемонии.

Один из выступающих говорит о покойном, как о большом любителе дорогих галстуков – человеку с безукоризненным вкусом. Неожиданно, он срывает свой галстук и кидает его в могилу: «На, Тони, прими мой последний дар, пусть тебе земля

будет пухом!» Другие тоже срывают галстуки, кидают их покойнику. Ник жметя, озирается вокруг, понимает, что попался, что всё уже predetermined – не отвертеться. Но делать нечего. Он снимает свой дорожный галстук и тоже бросает его в могилу. Теперь уже настоящая скорбь перекашивает его круглое лицо. Маленький кругленький Ник с голой шеей.

Все разъезжаются на своих «Кадиллаках». Ник едет в дешевом «Форде».

– Клянусь! – говорит Ник. – Еле себя сдержал, чтобы не развернуться и не откопать этот чертов галстук!

Потом, помолчав, добавляет:

– Зная этих проходимцев, никто не может поручиться, что все галстуки не были извлечены из могилы с наступлением ночи для дальнейшей перепродажи...

А я теперь ношу черное пальто. Мое пальто висит на вешалке в кубикле, где я пойман, как муха в опрокинутую коробку. Ник проходит, видит пальто – желает сделать мне приятное и говорит: «Overcoat? Look at you! Gogol!»

«Шинель» здесь в школе проходят. Меня это почему-то не радует. Я, наоборот, расстраиваюсь. Гоголь? Да уж – Акакий Акакиевич.

– Знаешь, – говорю я Нику. – Твоя история про галстук – немного как наша история про шинель: маленький человек – чужой среди своих, потерянный дорогой предмет одежды, отчаяние.

– Что ты! – усмехается Ник. – Это был такой дорогой галстук, что три шинели можно было бы купить. А вот я тебе лучше дружю историю расскажу – никакому Гоголю такое не приснится.

И он рассказывает мне про своего дядю, который ездил в отдаленные штаты, где приобретал купчие на несуществующие автомобили, а потом закладывал их в банке с большой выгодой.

Игорь Джерри Курас родился в Ленинграде, автор стихотворных сборников «Камни\Обертки» и «Загадка природы», живет в Бостоне.

Виктор БЕРДНИК

ИНФЕРНАЛЬНИЦА

Алик был, пожалуй, единственным среди друзей, кто после приезда в Америку так ни разу и не посетил Одессу. И это он – человек, покинувший город с разбитым сердцем и со слезами на глазах! Ну, ладно, сидел бы сиднем в Нью-Йорке. Так ведь нет! Что ни отпуск, так за океан – глотнуть европейского воздуха.

– А чего не полетишь в Одессу? – удивлялись знакомые. – Там сейчас класс!

Алик не без интереса слушал рассказы приятелей, улыбался, но туда не ехал. Почему? В Америку он подался как раз накануне развала страны и сразу понял, что за океаном отдельная квартира и собственная машина – отнюдь не индикатор материального успеха. Даже роскошная шуба, которую Алик прикупил жене Людмиле, не стала свидетельством процветания. В Одессе его Людочка смотрелась бы барыней-боярыней, а здесь она выглядела как все. И вообще, самооценка Алика в Америке понизилась, как гемоглобин в крови от малокалорийного питания. Потому он и не видел для себя моральной возможности возвратиться на родину обыкновенным неудачником.

Его дни уныло чередовали друг друга: работа, дом да русский ресторан. Никаких достойных внимания событий и сплошной гармидер в душе – это всё, чем Алик мог похвастаться в тот момент, когда его отыскал привет из Одессы. И как обычно бывает, произошло это совершенно неожиданным образом.

В один прекрасный день в Нью-Йорке объявилась Майечка. С ней Алик был знаком когда-то близко и даже очень... Очевидно, именно поэтому та не увидела препятствий ему позвонить.

– Вот приехала на экскурсию, так сказать, в частном порядке, – прощепетала она задорно. – А заодно и друзей навестить. Соскучилась за ними.

Последние слова Майечка произнесла так, что у Алика как-то нехорошо ёкнуло сердце и предательски кольнула печёнка.

– Ты мне не рад?

– Почему же? Рад, – он едва совладал с охватившим предчувствием чего-то неминуемого, теряясь в догадках о целях её звонка.

– Как поживаешь? – невинно поинтересовалась Майечка. И хотя, они не виделись уже более двадцати лет, Алик легко различил в её голосе слащаво-приторные нотки.

– Нормально. Как ты? Надолго в Нью-Йорк?

– На недельку, дней на десять. Как получится. Хотела показать дочке её отца. – Майечка вдруг замолчала, выдерживая многозначительную паузу. – И ты не спрашиваешь, кто он?

– А почему я об этом должен спрашивать? – Алик ощутил противную сухость во рту, как предвестницу нежданного дурного известия.

– Ну... Я не знаю, – замялась его нежданная собеседница. – Ведь и у нас с тобой теоретически мог быть ребёнок.

– Майя, – жёстко перебил её Алик. – Мы всё тогда решили. Не так ли?

– Ты решил.

– Что ты имеешь в виду?

– А то, любя моя дорогая, что ты дал денег на аборт и преспокойненько умыл руки. Вот только аборт я делать не стала.

У Алика на секунду пропал дар речи, словно он поперхнулся куском отварной индюшачьей грудинки, неделю пролежавшей в холодильнике. Ему моментально припомнилась нервотрёпка тех дней двадцатилетней давности и сопутствующее ей скверное настроение.

– Ты это серьёзно?

Представить, что молодая особа, смышлёная и недурная собой, захочет родить без мужа, не укладывалось в его голове.

«И почему же она всё время молчала, – мелькнуло естественное подозрение. – И чего хочет добиться сейчас?»

– Да ты не нервничай, – Майечка, будто прочитав беспокоящие мысли, возникшие у Алика, покровительственно рассмеялась в трубку. – Я без претензий. Ирише, слава богу, девятнадцать исполнилось Сама уж скоро невеста. Кстати, захочешь её увидеть, позвони. Я у подруги остановилась.

Майя не спеша и чётко продиктовала номер, уверенная в расторопности бывшего кавалера разыскать карандаш и бумагу. А уж в его порядочности и подавно.

Она не ошиблась. Алик судорожно записал телефон и пребывал теперь в неопишуемой прострации. Да и какие ощущения посетили бы вполне ответственного мужчину, в одночасье ставшего отцом взрослой дочери? Который, к тому же, не злостный неплательщик алиментов, а добропорядочный супруг, имеющий в браке тоже почти взрослого ребёнка?

Ночью Алик не сомкнул глаз. Ворочался с боку на бок и, перебирая в памяти короткий роман с Майечкой, так ни до чего не додумался. История ему виделась крайне странной. Его давняя подружка всегда была себе на уме. Даже пообщавшись с ней очень недолго, Алик без труда разглядел, с кем имеет дело. Майя относилась к типу тех женщин, которые никогда не ждут счастливую случайность, как бесхитростные девицы у окошка, подперев кулачком нежную щёчку, истомившись и вздыхая про себя: «И где она запропастилась?»

Напротив, подобные Майечке практичные особы открывают ворота пошире, чтобы та, сердешная, не заплутала часом и не ошиблась дверью:

– Эй, девушка! Вам, драгоценная, сюда. Ну, куда, дура, поёрлась? Говорят тебе – сюда, значит, сюда.

Попробуй, откажись от такого приглашения? И вдруг выясняется, что благоразумная и деловая Майечка – мать-одиночка? Ведь даже про беременность та сообщила совершенно невозмутимо, с твёрдым намерением избавиться от неё. И без всяких колебаний. Сказала, что есть надёжный доктор и за двести рублей спроворит аборт. Взяла деньги, на том и расстались.

Жену Алик решил ни во что не посвящать. И хоть Людмила не ревновала его к добрачным связям, всё равно заикнуться о подобном нонсенсе Алику казалось постыдным. Впрочем, и Майечке он не поверил безоговорочно, но, тем не менее, предложил встретиться. На его счастье, в ближайший уикенд Людмила работала, что давало Алику возможность провести пару часов с новоявленной дочкой и её мамой. А уж потеряться от посторонних глаз в Нью-Йорке проще простого.

Майечка сильно изменилась, превратившись из смазливой барышни в представительную даму. И выглядела отнюдь не хуже той девушки, с которой появилась в итальянском ресторане, куда Алик их пригласил. Стильно одетые, намарафеченные, они не производили впечатления обиженных жизнью женщин. Да и в глазах юной особы – по логике вещей дочки – Алик не заметил

терзающего совесть упрёка безотцовщины. Наоборот, в них отражалось если не безразличное любопытство, то уж наверняка не укоризна или осуждение.

– Ну, вот, Ириша, можешь с полным правом называть этого человека папой, – представила Алика Майя.

Тот смутился и вдруг поймал себя на мысли, что ищет в лице девушки собственные черты. Свой фамильный нос с горбинкой или слегка скошенный подбородок, доставшийся ему от мамы и бабушки. Какой-нибудь внешний признак, который подскажет ему их кровное родство. Внимательно разглядывать девушку Алик постеснялся, но потом изредка бросал на Ирину пристрастные взгляды, как бы примеряя на себя новый статус.

– Здравствуйте, – чинно поздоровалась девушка. – Именно таким я вас всегда и представляла, – тепло добавила она.

– Каким? – наконец, прервал напряжённое молчание Алик, воодушевлённый её доброжелательным тоном.

– Импозантным мужчиной, с которым мне хотелось бы появиться перед друзьями. Я наверняка испытала бы гордость, представив вас как своего отца, – виновато улыбнулась Ирина, не скрывая сожаления о том, чего до сих пор была несправедливо лишена.

Во время ланча никто никуда не торопился. Для начала Алик заказал бутылку вина и карпаччо. В перерыве между закусками Майечка решила ненадолго отлучиться. Она словно нарочно оставила Алика и Ирину наедине, а когда вернулась, нашла их подружившимися.

Последующие дни Алик продолжал оставаться под непреодолимым волнением от трогательной встречи, но ещё под более сильным от объяснения с Майечкой:

– Ты так быстро тогда согласился, – горько усмехнулась она, когда Алик завёл разговор обо всём происшедшем. – Будто испугался, что я надумаю рожать. Ах, Алик, ты даже не представляешь, насколько предупредительная готовность мужчины заплатить за аборт может быть оскорбительной. Мне показалось, что этим ты меня предал. А как я хотела услышать твой протест. Ну, хотя бы одно слово в защиту будущего ребёнка. Нашего ребёнка!

В глазах у Майечки навернулись крупные тяжёлые слёзы.

– Потом узнала, что ты с кем-то встречаешься. Даже видела тебя с ней в городе. Не стала мешать чужому счастью. Да и сердцу, как известно, не прикажешь. Ведь со мной оставалась частица

любимого человека. Его плоть и кровь! Ну, как я могла решиться лечь под нож?

Алик слушал её, терзаясь и напрочь позабыв о прежних сомнениях. И пусть он уже давно ничего не чувствовал к этой женщине, его честь и достоинство сразу же подтолкнули предложить Майечке посильную помощь.

– Ведь ты не будешь возражать? – пряча взгляд и краснея, спросил Алик её, растревоженную воспоминаниями. – Я хочу это сделать для Ирины. Пожалуйста, не отказывай мне.

Незаметно прошёл месяц, и однажды вечером Людмила за ужином поделилась с мужем свежими сплетнями, принесёнными из «Мэйсиса» – универсального магазина, где она работала.

– У меня сменщица, тоже русская. Да я тебе говорила о ней. Лилька! Одесситка. Помнишь? У её родителей ещё дача была в Аркадии рядом с нашей.

– Угу, – машинально кивнул Алик без всякого интереса. К новостям о личной жизни соотечественников он испытывал полное равнодушие.

– Слушай, такое рассказала! У неё подруга из Одессы гостила. Не поверишь, что вытворила. Комедия!

– Гастролёрша?

– Не то слово! И вроде чудачке уже хорошо за сорок, но за какую-то неделю та успела раскрутить здесь сразу двух мужиков. Причём по полной программе.

– Способная, – отметил Алик, продолжая жевать и слушать вполуха. – И чем же она их так прельстила? – он скептически усмехнулся. – Или в Бруклине уже не на кого положить глаз?

– В том то и фокус, что не тем заветным ласковым местом, о котором ты думаешь. Она им успешно работала раньше, – расхохоталась Людмила. – А теперь всё больше башкой. Развела этих дурней мульткой о взрослой дочери.

– В смысле? – Алик ощутил, как у него в пищеводе на пути к желудку застрял кусок непрожёванного голубца, подобно лифту, внезапно остановившемуся между этажами.

– Наплела о себе душещипательную историю. Ну, вроде того, что когда-то переспала с ними, забеременела и потом одна растила ребёнка.

– Чьего ребёнка?

– Алик, ты что, не врубаешься? Просто как всё гениальное. Разыскала телефонные номера бывших ухажёров, с которыми куролесила в молодости, и каждому преподнесла сюрприз: мол, у тебя, дорогой товарищ, дитё имеется. А найти в Нью-Йорке кадра с рыльцем в пушку, знакомого по Одессе – плёвое дело. Уж где-где, а здесь осела, считай, чуть ли не вся Молдаванка.

– И те поверили? – упавшим голосом спросил Алик, уже догадавшись, о ком конкретно идёт речь.

– Как тут не поверить, если и *доцю* предъявили в качестве вещественного доказательства. Лилькина подруга какую-то местную оторву надыбала и платила ей столярник за свидание с любимым папой. Ну, там слезу пустить для пущей убедительности или на шею, расчувствовавшись, кинуться к родителю. В общем, действовать по обстоятельствам. И что ты думаешь? Оба схавали. Как миленькие! Ещё и в кабаки водили. Поили, кормили по первому разряду.

В тоне Людмилы послышалось невольное уважение к разбитной бабёнке, умудрившейся столь элегантно облапошить наивных простачков. И хоть поступила та довольно подленько, сыграв на лучших мужских качествах, сострадания к её обмишурившимся жертвам Людмила не испытывала.

– Я так полагаю, что эта находчивая красотка и на аборт в своё время с каждого получила. Который никогда и не делала.

– Нет? – Алик потеряно смотрел на остывший голубец у себя в тарелке и на кончик ложки, утонувшей в банке с майонезом. Аппетит у него пропал начисто.

– Естественно! Лилька знает её как облупленную. Ещё со школы. Для той подобные мансы были всегда в порядке вещей.

– И где она теперь? – пытаюсь оставаться безучастным, любопытствовал Алик.

– Кто? Лилькина подруга? Да намылилась уже благополучно. Погуляла вволю в Нью-Йорке, скупилась, отбила поездку, благодаря своей сообразительности, и обратно домой. В Одессу.

Виктор Бердник родился в Перми, окончил Одесское мореходное училище, автор романа «Между двумя континентами», а также публикаций в американских изданиях «Панорама», «Побережье», «Слово/Word» и других. Живет в Лос-Анджелесе.

Борис ЮДИН

ПОДАРОЧЕК

Фима пришёл после работы загадочный и с большой коробкой в руках.

– Ну, и что это ты светишься, как лампочка в уборной? – спросила Аня.

– А я тебе подарочек принёс, – доложил Фима, чмокнул Аню в щёку и поставил коробку на стол. – Вспомнил, что завтра Восьмое марта как раз. И вот, пожалуйста. Владей.

– Говорила моя мама о тебе, что от такого жениха хорошего ждать не надо, – сказала Аня. – Поэтому сначала посмотрим, что это за штука, а потом и овладеем.

Аня подошла к столу, поправила очки и прочитала на коробке: «Scarlet».

– Если я правильно помню, то Скарлет в кино была упрямой страдальницей, поэтому хорошую вещь таким именем не назовут. Что это? Лучше сам признайся.

Фима подумал и признался:

– Понимаешь, нашего босса занесло то ли в Таиланд, то ли на Филиппины. Короче, куда не надо. Там он и наткнулся на эти цацки по невероятно низким ценам. И хапнул от жадности. Думал бизнес сделать. Фирма-то хорошая. Но это сделано в Азии, поэтому ни одна лавка их не взяла. Тогда он наградил ими нас вместо премии. Это кухонный процессор. Так что владей.

– Господи ты Боже мой! – сказала Аня. – Помоги моей маме, когда она начнёт в гробу переворачиваться, увидев это. Фима! А почему ты не купил в придачу бейсбольную битку, чтобы я могла с тобой поговорить конкретно? Боже мой! Порядочные мужья на женский день дарят своим жёнам что-нибудь женское, а мой – приволок кухонный комбайн. А почему же ты трактор заодно не прихватил?

– Да вот, как-то... – начал бормотать Фима. – Сама понимаешь...

– Я понимаю больше, чем тебе хочется, – перебила Аня. – Ну, давай, открывай свой подарочек. Посмотрим, как оно работает.

Фима вскрыл коробку и достал инструкцию.

– Ты смотри, Анечка, инструкция на многих языках. Значит, у фирмы престиж есть.

– Дурни-покупатели у них есть, вот что я тебе скажу.

Аня взяла инструкцию и прочитала:

– Процессорды ыстык азык-тулик салманыз. Это по-каковски?

– Не знаю, дорогая. Наверное, на каком-нибудь языке.

– Не знаешь? Тогда ты разбирайся с этой хренью, а у меня сериал по телику.

Фима распаковал процессор, установил его на кухонном столе и позвал Аню:

– Ты посмотри только, какая это красота. Сейчас мы с тобой сделаем бананово-апельсиновый коктейль. Видишь, тут даже рецепт есть.

– Конечно, – заявила Аня, подходя. – Из чего же в этих Таиландах ещё коктейли делать, как не из бананов. Это и ёжику ясно.

Фима ловко обнажил два банана и апельсин, загрузил их в процессор, нажал клавишу и обрадовался:

– Ты только посмотри, дорогая, как оно эффективно работает!

В этот момент крышка процессора взлетела в воздух, и ароматная смесь оказалась на Анином лице. Причём, на Фиму не попало ни капли. Некоторое время супруги молчали. Первой пришла в себя Аня:

– Мой муж террорист, – заявила она, вытирая лицо салфеткой. – Мой муж террорист и разбойник. Говорила мне моя мама, что видит в его глазах что-то непотребное. И теперь я догадалась – что. Короче, я пошла в ванную и если к моему приходу в кухне не будет идеальной чистоты, я пишу заявление о разводе.

– Хорошо, – вздохнул Фима и начал стараться. Он старался так, что к Аниному приходу идеальная чистота появилась и была видна невооружённым взглядом.

– Молодец! – похвалила Аня. – А свою мину замедленного действия не выбрасывай. Завтра у Светки Миркиной день рож-

дения и нас пригласили. Вот мы и подарим ей это чудо науки и техники. Пусть, стерва, порадуетя.

– Ах, какая прелесть! – обрадовалась Миркина, увидев подарок. – Мне как раз был нужен такой процессор. А вы полюбуйтеься, какое платье мне муж подарил. Из настоящего бутика. Фирма!

И Миркина покрутила бёдрами, упакованными в рюшечки и оборочки розового цвета.

– У меня к тебе, Фима, просьба. Установи мне на кухне эту машину, а потом я порадою дорогих гостей необычным десертом.

После пятого тоста за здоровье новорожденной Миркина ушла на кухню, в очередной раз пригрозив гостям непонятым десертом. А когда вышла, то стало понятно, что десерта не будет, и пора расходиться по домам.

– Это, Фима, ты меня очень порадовал, – сказала Аня в машине. – Я когда увидела вытянувшуюся Светкину харю, то сразу поверила в то, что Бог есть. Жаль, что нельзя было смеяться в голос, а можно было только сочувственно охать. Интересно, что она теперь мне скажет.

А Миркина позвонила через неделю и поблагодарила за подарок. Она, как оказалось, отослала процессор Гольдбергам в Чикаго, у которых как раз случилась серебряная свадьба. Словом, всё сложилось удачно и хорошо.

Всё это было в марте. А в июне грянул Анин день рождения. Праздновали в итальянском ресторанчике. Фима подарил Ане кольцо с рубином и стразами, которые было невозможно отличить от настоящих бриллиантов. Аня хвасталась этим кольцом, пихая руку в лицо гостям до тех пор, пока подвыпивший Бескин не укусил её за палец.

Как бы там ни было, но супруги вернулись домой усталыми и счастливыми. У дверей их ждала коробка в красивой упаковке. Аня прочитала адрес и обрадовалась:

– Боже мой! Это же дядя Миша из Лос-Анджелеса прислал. Вот, уважил. Я тебе, Фима, вот что скажу: мой дядя говна не пришлёт. Посмотрим, посмотрим.

– Ты открывай, а я сейчас, – сказал Фима и рысью побежал в туалет. А когда управился с неотложными делами, то из комнаты донеслось:

– Чтоб он издох, твой босс! Чтоб он издох медленной смертью, и я могла бы плюнуть на его могилу!

– Что случилось, дорогая? – спросил Фима, входя в комнату.

А на столе красовался процессор фирмы «Scarlet», изготовленный то ли в Таиланде, то ли на Филиппинах.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

На Нью-Йорк наплывал вечер. Мы с Михал Михалычем сидели на нашей скамейке на Ocean parkway и любовались облаком, раскрашенным в самые невероятные оттенки красного.

В доме напротив открылось окно на втором этаже, и оттуда на тротуар вылетел чемодан. Немного погодя спланировали брюки. За ними подушка. Из подъезда выбежал мужик в трусах и майке, присел над искалеченным чемоданом и стал в его пузо запихивать разбросанное шмотье. А из окна высунулась по пояс полуодетая дама и стала двигать речь, обращаясь не столько к мужику в майке, сколько к прохожим. Из её многословья до нас доносились только множественные «факи», но и без слов ситуация была ясна.

Взвизгнула сирена полицейской машины, и уже через минуту два офицера повели мужика внутрь дома.

– Напрасно это они наехали, – прокомментировал ситуацию Михал Михалыч. – Дела семейные. Сами бы разобрались. Я Вам, Боря, вот какую историю расскажу. Почти всё – чистая правда. Конечно, я привру немного, но не по сути, а для исключительно красоты изложения.

Было это незадолго до моего отъезда. Надо было уже документы оформлять, а я, как на грех, потерял паспорт. А может, и не потерял, а украли. Украли – не украли, а документ нужно было восстанавливать.

Вот я и приволокся в паспортный стол райотдела милиции. Народу – тьма. И всем охота побыстрее. Я сел к столу и стал заполнять стандартную форму. Чувствую, что кто-то через плечо смотрит на мою писанину. А я этого ужасно не люблю. Оборачиваюсь, чтобы сказать пару ласковых слов и десяток неласковых, а там стоит майор милиции. Шею из воротника вытянул и в мою писанину заглядывает. Ну, не ругаться же с ним?

Ладно.

Заполнил я нужные бумажки, сел на стул у стеночки и жду. Не успел соскучиться – подходит милиционер:

– Следуйте за мной, гражданин.

Я спрашиваю, в чём дело. А у него морда каменная:

– Пройдёмте. Там разберутся.

Ну, что тут делать будешь? Надо следовать.

Короче, заводят меня в кабинет начальника. А там тот самый майор, что своё рыло в мои бумаги совал. Ходит из угла в угол.

– Присаживайтесь, Михаил Михайлович, – говорит. – Чувствуйте себя, как дома.

Я уселся возле стола и спросил:

– А в чём, собственно, дело?

Майор тоже уселся и грустно посмотрел на меня:

– Не узнаете, Михаил Михайлович?

– Простите, не припоминаю, – соврал я.

Соврал, потому что узнал в этом майоре того самого солдата-ка- отпусника, которому я лет двадцать тому назад дал глупый совет. А было это в те годы, когда существовала ещё народная дружина. За дежурство в этой дружине добавляли день к отпуску. Я был неохоч до этих дежурств и обычно отбрехивался. Но в тот день, вернее, вечер, мне не удалось увильнуть от исполнения гражданского долга.

Мы с напарником погуляли несколько часов по улицам. Потом, спрятав в карман красные повязки, посидели в пивной. А потом неосторожно вернулись в штаб дружины. Там скучающий лейтенант велел нам пройти по адресу. Дескать, был сигнал. Пьяный муж выгнал жену с ребёнком на улицу и в дом не пускает.

Мы и пошли.

Приходим. На самодельной лавочке возле дома сидит молодой мужчина и покачивает детскую коляску. А вокруг них бегают молодуха и кроет таким матом, что мне завидно стало. Я попросил напарника отвести потерпевшую в сторонку, а сам сел рядом с мужиком и спросил, в чём дело.

А дело оказалось простое. Парень этот служил срочную. И получил отпуск за успехи в боевой и политической подготовке. Ну, понятно, что дома сели отметить приезд. А жена приревновала его к своей сеструхе. Поскандалили. Она побежала в подвал. Муж за ней. Смотрит, а она в петлю лезет. Вот, он её

из петли вынул и стукнул пару раз по физии для отрезвления. А супруга оказалась злая, как собачонка. Кричит: «Всё– равно посажу!» И давай в милицию названивать. А потом вынесла ребёнка на улицу, чтобы было всем видно, что муж-подлюга их в дом не пускает.

Тут я сдуру и проронил:

– Я бы, парень, на твоём месте из петли не стал бы вынимать. Я бы её ещё и за ноги дёрнул.

Вот такую историю, Боря, я вспомнил, когда к майору побо-ялся признаваться. Мало ли что? И вот, пока я всё это вспоми-нал и совестью угрызался, майор вызвал сержанта и дал команду оформить мой паспорт. А потом достал блюдце с дольками лимо-на, налил коньячку и предложил выпить.

Выпили. Он и говорит:

– Спасибо Вам, Михаил Михайлович. После Вашего совета моя жизнь по-другому пошла. Закончил школу милиции, потом академию. Служу. Женился на сестре моей первой жены. Двое мальчиков у нас. А девочку от первого брака уже замуж выдали.

Я спрашиваю:

– А с первой давно развелись?

– Нет, – говорит. – Она всё-таки повесилась в тот день.

Тут у меня мурашки по коже пошли.

– Как так? – спрашиваю.

– А вот так, – улыбается майор. – Ночью эту дуру опять ве-шать понесло. Смотрю – побежала в ванную и верёвку к трубе под потолком привязывает. Я сначала рванул, чтобы верёвку эту отобрать и пару раз по морде съездить. А потом вспомнил Ваш совет и пошёл на кухню. Там выпил рюмку и курил, пока всё не закончилось. А потом вызвал «скорую» и милицию.

Я хотел было спросить майора, как он с этим теперь живёт, но тут сержант принёс готовый паспорт. Я расписался на паспор-те и на карточке. Мы выпили с майором ещё по рюмке и распро-щались.

К дому, где был недавно семейный скандал, подрулили ещё две полицейские машины. Значит, дело было нешуточное. И точно. Вскоре вывели ссорящихся в наручниках.

– Наверное, наркоту нашли, – сделал вывод Михал Миха-лыч. Потом закурил и вернулся к предыдущей истории:

– В то время, Боря, мне эта ментовская исповедь показалась пустяком. А сейчас, когда самому надо собираться в дальние края, у меня время от времени щемит в груди. И я вижу, как дёргается в петле молодая женщина, а её муж спокойно покуривает на кухне, ожидая конца. И тогда я чувствую себя убийцей.

Облака на западе сменили алые оттенки и на фиолетовые. А это означало, что вечер уже пришёл в Нью-Йорк.

Борис Юдин родился в Даугавпилсе (Латвия), окончил филологический факультет Даугавпилсского университета, автор книг «Убить Ботаника», «Дилетант», «Так говорил Никодимыч», «Город, который сошел с ума». Живет в Нью-Йорке.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЛЫТДЫБР

24 мая.

Каждый раз, когда приближается круглая дата (или даже не особенно круглая) – день рождения или день памяти знаменитой личности, начинается оживленное бурление в культурных кругах. И чем круглее дата, тем бурление интенсивнее. И если объект, вокруг которого происходят эти всхлипывания, ушел в мир иной не так давно, и живы еще его друзья, подруги, коллеги, знакомые, случайные спутники или даже легкомысленные персонажи, опрометчиво пробежавшие когда-то мимо чтимого ныне гения (а так бы сидели среди избранных и цепляли к воротничку крошечный микрофон), то к этим счастливым, и к этому легкомысленному тоже, кидаются заинтересованные корреспонденты, редакторы и биографы, бегут с диктофонами, с огромными увеличительными стеклами в руках, еще раз рассмотреть детали, расчленить на совсем уж мелкие части, еще раз выжать остаточные воспоминания, хотя всё уже выжато и вспомнено много-много раз, ничего почти не осталось, все равно давят как пустой тубик с кремом («ну как же вы не помните, попробуйте, у вас получится, ну вот о чем вы говорили, когда...»). И приходится для них, жаждущих, что-то изобразить, а что делать, неудобно разочаровывать людей, у них работа такая (они еще и заражают друг друга). Ну и расскажешь, как это было на самом деле, если ничего такого и не было.

Ну, да это ладно... Здесь такие игры. Люди сомневаются в себе, идут в темноте, выставив вперед руки, нащупывают ногой следующую ступеньку, ищут чего-нибудь правильного, а то вдруг схватят какую-нибудь «картинку человека» или модель человека – называйте, как хотите – и давай её вертеть, трясти, расчленять... Всё стараются проследить, разобраться, найти точку отсчета, понять... Кого понять? Себя, конечно. Или нет. Всё-таки Его. Они ведь Его подобия, то есть все мы лишь образы и подобия. Возможно, кто-то ближе к Нему, кто-то дальше.

Будьте снисходительны, Иосиф Александрович...
Как там у Вас, кстати?
С днем рождения!

25 мая.

Смотрели передачу с друзьями Бродского. Что время делает с людьми. Уму непостижимо. Страшное дело. Страх и трепет. Трепет и страх. Смотреть на бывших красавиц – душераздирающее зрелище. Да и на мужчин – тоже, я вам скажу... Эти брыли, эти плечи, эти пыльные морщины... (мстительные красавицы мысленно закричали: «это вовсе не мужчины»).

Н (с тоской): «С такими лицами нельзя из дому выходить, не то что в телевизоре показывать. Как только не стыдно».

М (почему-то с агрессией): «А сам-то, сам-то, иди, глянь в зеркало».

Н (резонно): «Ну я же ни в какой телевизор не хожу, сижу дома, никого не трогаю, починая компьютер...».

М: «На улицу, однако, выходишь».

Н: «Вынужден. Но... ты же видишь, в больших темных очках».

Ахали дружно, потом кто-то предложил вызвать Иосифа Александровича. Все невероятно оживились, вытащили круг, испытанное блюдце, фирменное устройство, изобретение великого Н – стрелка, соединенная с блюдцем. Открыли форточку, сняли все часы, кольца и браслеты, выключили свет (а компьютер Н, вот что интересно, оставил включенным, сказал: «попробуем»), зажгли свечи. Начали готовить вопросы. Стали спорить о формулировках. Повысили голоса. Н жутко разъярился, шепотом заорал (а как же, он же у нас медиум): «замолкните, идиоты!». Разговор посадили записывать трепетную М-штрих, вся преобразилась, гордая стала, вытащила блокнотик, приготовилась. Н начал нагревать блюдце, долго-долго нагревал, поворачивал над свечой. М заёрзал: «не боишься, что лопнет». Он другое слово произнес, причем громко. М-штрих зашипела. М закрыл рот ладонью. Ну и дальше всё как положено. Вытянули пальцы. Н набычился, вздохнул, выдохнул, закатил глаза, воззвал: «Иосиф Александрович, Вы здесь?» И... оно поехало, блюдце поехало. Пошло, пошло и стрелка указала: «Да». На что уж я собой

владею, но и то... холод дунул в затылок и волосы на голове, видимо, зашевелились, такое, знаете ли, странное ощущение, волна покалывания, от затылка до макушки. Спросили, как к нему обращаться. Быстро и четко ответил: «без отчества». Ну нет, мы не посмели. Вопросы были самые дурацкие, тем более М-штрих, стенографистка хреновая, до сих пор всё не может расшифровать. Блюдце вело себя исключительно вежливо, ехало себе, ехало, стрелка шла от буквы к букве. То есть дух И.А. был удивительно терпелив и снисходителен. Как мы и просили. Что мне запомнилось. Спрашивали (в разных вариантах) про нашу жизнь. Ответил типа «данность», про то, как к ней относиться: «выносить невыносимое». Еще вот что. М почему-то совсем низко склонился над блюдцем и зашептал: «Бог есть? Ответьте ради Христа, дорогой Иосиф Александрович». И пошли буковка за буковкой: «Для меня есть, для тебя – не знаю» (М вообще-то уже принял, у них были потом разборки с М-штрих, он кричал на неё в коридоре: «даже если и пьяный, дух не собака, почему ему должны пьяные не нравиться»).

Новая Подруга нашего любвеобильного N спросила про танцы вокруг квартиры. Стрелка коротко вздрогнула: «н-н-н-не... понял...». N сообразил, зачитал прямо с экрана, что городское правительство хочет устроить музей в квартире на Литейном, там, где было полторы комнаты, но...

«...позиция нынешних жильцов квартиры Иосифа Бродского на Литейном проспекте Петербурга «совершенно неадекватна». Губернатор Валентина Матвиенко рассказала, что три комнаты из пяти расселить удалось, а вот обитатели двух оставшихся упорствуют. “Им предложены уникальные условия: отдельные квартиры в центре города, выкуп комнат, – возмущалась губернатор. – Пользуясь присутствием СМИ, обращаюсь к жильцам квартиры – проявите гражданскую ответственность, покажите, что вы дорожите памятью великих людей!», – призвала она»

Стрелка заходила ходуном, то есть она точно связана с компьютером, потому что колонки завывли (наша блондинка М-штрих вся засветилась, обратила восторженные глаза к N, мол, это открытие, то есть новый шаг в спиритической технике, забле-

яла, что надо немедленно патентовать, на мой вопрос: «где?» удрученно покачала головой, N глянул на меня с укором, видимо, услышал иронию, ничего не сказал, нет, все-таки тихо процедил: «ты мешаешь», это мне, а на блондинку взглянул благосклонно, вот они мужчины, никакая похвала им не кажется лишней, ничей восторг не мешает). Потом уж пошли буквы. Довольно долго. В общем так. Иосифу Александровичу очень нравятся жители его прошлой коммунальной квартиры. И никакого музея он там видеть не желает. Вот. Пусть остается коммунальной. И я бы оттуда ни за какие коврижки не уехала. Отличное же место – Летний сад, Фонтанный дом, журнал «Звезда», все рядом.

UPD: О! еще одну комнату выкупили, осталась несгибаемая тетенька, «с ней предстоит непростая работа», – сказал руководитель фонда музея Бродского. Ой, боюсь я, когда в России проводят с кем-нибудь непростую работу. Они проведут эту работу, никаких сомнений. Хотелось бы подробностей («разбежалась», – говорю я себе и замолкаю до следующего апдейта).

26 мая.

Питер город маленький. К слову, Ленинград так называли всегда, потому что короче – *Питер бока powyтер* – это я к тому, что теперешние эмигранты-патриоты принципиально зовут мой родной город Ленинградом, не признают Петербургом, странные люди... Итак, город маленький и встретить можно было на дружеских посиделках буквально кого угодно. Вплоть до Бродского. Речь идет, разумеется, о временах моей молодости. Однажды Бродский пришел на вернисаж к одному художнику. Ничего плохого об этом художнике я не скажу, поэтому могу назвать его имя. Звали его тогда Эдди Мосиэв, правда, потом он называл себя Луис Ортега, утверждая, что это его подлинное имя и есть. Он был испанский ребенок, и во время гражданской тамошней войны в возрасте двух лет попал в Россию.

Так вот, Бродский пришел на вернисаж в известную в городе мастерскую. И мы оказались с ним на одном диванчике – почти рядом (между нами поместился один известный советский писатель Д.Т., который Бродского и привел).

Непривычная ситуация сложилась для Иосифа: никто не говорил о поэзии и стихов никто не читал. И вообще, все смотрели

на художника, на его картины, на его рисунки (очень хорошие рисунки), некоторые на его красавицу жену, но это как раз Бродский мог понять, и слушали художника, который, кстати, умел говорить, в отличие от своих собратьев по кисти или резцу. У художников ведь со второй сигнальной системой, как правило, не очень. Но этот был исключение, уверенное в своём уме и гениальности. Хвастун он был редкостный, сразу вытащил и показал публике медаль испанского Эскуриала. Да, еще он очень спокойный был. И зашёл разговор о религиях и всякой эзотерике, о тайнах, скрытых мудрецами в картах Таро. Даже не разговор, а спор. И Бродский ринулся в спор, очень разволновался и страшно покраснел. Он вообще уже давно, как я заметила, начал волноваться – в центре внимания по недоразумению оказался самоуверенный, спокойный задавака. Помню, что Иосиф непрерывно сжимал и разжимал кулаки, потирал руки, чудовищно заикался и дрожал. Ему надо было непременно победить. Но не тут-то было. Гордый испанец, невозмутимо поигрывая медалью Эскуриала, смотрел на Иосифа с явным превосходством и сдаваться не собирался. Вот видите. Никто не знает будущего, даже гордые испанцы, владеющие тайнами карт Таро.

Годы спустя мне стало понятно, почему Бродский захотел повидать этого человека – кроме художественных талантов, Луис обладал некими эзотерическими знаниями, и к нему наведывались люди самых широких интересов и поползновений, в том числе даже и физики-агностики, в основном чтобы позабавиться и поболтать.

Ремарка в сторону – однажды я привела к Эдди-Луису (мой ревнивый муж упорно называл его Эдиком) отличного физика, спорщика и говоруна Мишу Толстого, привела с провокативной целью – посмотреть как сцепятся два владеющих словом человека, при этом я втайне ставила на замечательную логику и знания моего физика. Ничего однако не получилось – физик (посмеиваясь) ловко ушел от какой-либо дискуссии, продемонстрировал нам такой, в некотором роде, блестящий приём, и позволил павлиньему хвосту художника распуститься до ослепительного, но абсурдного сияния. Иосиф же в те поры искал собеседников в этой заумной области и в своих метафизических поисках пытался, по свидетельству друзей, даже читать отечественных мистиков, например «Арканы Таро» В. Шмакова. «Потом увлечение

это прошло, и в стихах встречаются резкие выпады против оккультизма». Так пишет Лосев и приводит примеры:

*«Иначе – верх возьмут телепаты,/Буддисты, спириты,
препараты,/Фрейдисты, неврологи, психопаты./ Кайф, состоя-
яние эйфории, диктовать нам будут свои законы.../ Наркома-
ны прицепят себе погоны».*

И вот думаю – высокомерный испанский художник начал благое дело отвращения Иосифа от оккультных наук. Вполне. (И ведь хорошо, да?) Так бывает. Не мог оказаться Бродский лидером в этой компании. Сама личность знатока была ему неприятна, и все, что с этой личностью оказалось связано, немедленно подверглось отрицанию. Предположение это, всего лишь предположение.

А вот что еще вспомнилось: тот самый спутник поэта, писатель Д.Т., который называл себя другом Бродского (ну, пусть не друг, пусть просто хороший знакомый), через много лет прилетел погостить в Нью-Йорк и спросил у общих друзей, не знают ли они телефон Иосифа. Они сказали, что, конечно, знают, как не знать, но так сразу дать не могут – Бродский стал звездой, и надо у него испросить разрешения. Позвонили. «Д.Т.? – переспросил Бродский, – что-то не припомню такого». А ведь сам говорил, что человека, прожившего жизнь в России, следует без разговоров помещать в рай. Не пожалел бедного советского писателя. Унизил. Ну что возьмёшь с гения. А стихи у Бродского волшебные, до сих пор волшебные, и такими останутся, видимо, навсегда.

27 мая.

Вечером опять вызывали Иосифа Александровича. Долго не появлялся. Возможно, мы ему просто надоели. На повторный вопрос про то, как там всё, ответил коротко: «нормально» (помнится, Довлатов сказал: «скучно, но жить можно...»). Потом отослали ему некоторые ссылки на фильмы про него и статьи. Эксперимент. Ждем. Вроде никакой реакции. Уж очень долго молчал. Через некоторое время стрелка заметалась как ненормальная, буквально все буквы алфавита выкидывала: пппппп, словно заикался: ииии, еще раз: пппппп, снова: ииии... почему-то: зззззз..., хххххх (то ли смеялся, то ли еще что...), потом практически застонал: уууууууу, мы не успевали записывать (N

буркнул: «надо все-таки простенькую программку поставить»), выдал длинную паузу, и вдруг явственно: «дураки». Это, разумеется, нам, поскольку действительно ничего не могли разобрать.

Ну мы больше не настаивали, отпустили, кто-то начал вслух читать какой-то текст, прямо с экрана, (его-то мы отпустили, а сами не могли отвлечься):

«...в юности, как рассказал корреспонденту Мирсаид Сапаров, они с Бродским на самом деле были близнецами.

...живя в одном городе с гением, глупо с ним не обедать

...в жизни, а не в литературе вкусы Бродского проще: больше всего он любил котлеты.

...довелось обедать с Бродским в огромном ресторане, устроенном на гонконгский манер, официанты развозили по столикам блюда, на одном я увидел куриные лапы с когтями.

...читатель переваривает слова поэта, которые меняют молекулы его тела».

«Зачем про пищеварение, не хочу ничего знать про котлеты, как-то не интеллигентно, – закричал М, – и потом, чьи молекулы? какое тело? кто меняет? на что меняет? ничего не понятно. Причем здесь молекулы».

«Это метафора, болван».

«Куриные лапы с когтями?» – протянула задумчиво М-штрих.

«Когти были покрыты красным лаком, – заявила с непроницаемым лицом Новая Подруга N и добавила, – цвет дракона».

«Сам ты болван! Бродский центр моей Вселенной, я хочу возвышающего ...».

«Канешна, королева не какает, – проявила солидарность Подруга, – котлеты неуместны».

Чувствуя, что обычный абсурд нарастает, я включила свет, закрыла окно, предложила поставить чай. М. возмутился: мол, какой чай в два часа ночи, и потребовал чистого спирта. М-штрих фальшиво улыбнулась, начала вызывать такси.

N (примирительно): «Да ладно вам, какое такси? куда? а и правда, давайте чайку или кофе? Ух ты, смотрите, что делается в

провинции: *Услышать высокую поэзию смогут обычные горожане – в течение двух недель стихи Бродского будут звучать из громкоговорителей уличного радио, расположенных в центре Воронежа»*

Подруга N: «Перепутали с Мандельштамом?»

N (участливо): «А вот что нашел, специально для тебя, точно как ты просил, возвышенное, поэтическое, от одной девушки: *зная про самое главное, брал за живое весь свет, тот, кого выгнали за море, стал наш великий поэт».*

M (взвыл): «Всё! Здесь издеваются! Ухожу в ночь! Один!»

N (практически с нежностью): «Сиди уж. Мосты все равно разведены. А девушка, между прочим, спичрайтер президента России. Ну а вот это, как тебе? *Он поместил себя в вечность вместо времени, являл образ профессионально умного человека... мы, например, с тобой умные, но непрофессионально... дилетанты... или: сила слова его равна библейской... Вполне интеллигентно. А?»*

И вдруг, вдруг... вы не поверите, стрелка проснулась, затряслась, задрожала на одном месте, завибрировала (а мы ведь ничего не спрашивали) и написала: *«совсем очумели...»*

Вот кто это сказал? Кто? И кому?

Людмила Агеева окончила физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук, автор книги прозы «В том краю», романа «Тонкий слой». Живет в Мюнхене.

ДРЕЗДЕНСКАЯ ВИГИЛИЯ

Вигилиями называл самый фантастический писатель Германии – Э.-Т.-А. Гофман – главы известной своей сказки «Золотой горшок». В переводе они звучат как «ночные бдения». Эти записки я тоже назвала «вигилиями» – с той только разницей, что первую я писала в первый год нашего приезда в Дрезден, а сегодняшнюю – спустя 10 лет. Между ними – мои размышления о жизни вне родины и о себе.

Как раз в такие моменты почему-то возвращаешься к русской классике, к когда-то прочитанным и забытым шедеврам. Так вернулась я к «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя. Всем известно, что эта повесть составляет часть «петербургских повестей» великого писателя, но не все помнят, что именно это произведение возглавило этот цикл и ранее, вместе с повестями «Нос» и «Шинель», появилась в сборнике «Арабески». «Невский проспект» был написан в 1833 году, а за 20 лет до этого вышел в свет сборник сказок немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана «Фантазии в манере Калло», которые тоже первоначально задумывались писателем как «Арабески».

Главным произведением цикла Гофмана стала повесть «Золотой горшок», посвящённая злочлочениям студента Ансельма и его возвышенной любви, благодаря которой он стал поэтом. Судьбу своего героя Гофман отождествляет со своей, ведь он начал свою карьеру как юрист, и уже потом раскрылись его дарования композитора, музыканта, живописца и писателя.

Вся жизнь Гофмана алогична. Родившись в Кёнигсберге, он меняет постоянно места жительства: это и Глогау, и Позен, и Варшава, и Берлин, и Бамберг, и Дрезден, и Лейпциг, то есть ведёт себя как настоящий «странствующий энтузиаст». И его вечная любовь к 13-летней девочке, которую к тому же срочно выдали замуж за респектабельного и приличного человека, создавала вокруг Гофмана совсем неблагоприятную ауру. Его вечные кол-

кости, карикатуры и критика германского правительства времени войны с Наполеоном заставили отвернуться от него даже самых преданных друзей.

Но был среди них один, который не только понял и не осудил чудачества писателя, но напротив, всячески поощрял его поэтический дар, вплоть до того, что стал первым редактором и издателем его «Арабесок». Это был бамбергский житель, производитель марочных вин, которые он любил дегустировать в своём винном келлере с Гофманом (кстати, келлер сохранился до сих пор), владелец обширной публичной библиотеки, называемой им Leseinstitut, Карл Фридрих Кунц.

Именно он первым показал Гофману листы гравюр лота-рингского художника XVII века Жака Калло, которым суждено было стать краеугольным камнем творческой манеры писателя. «Даже самое тривиальное в каждодневной жизни показывается в блеске некоей романтической оригинальности, так что это трогает человека, который склонен к фантастическому. ...Мог бы писатель или поэт извинить себя, сказав, это он работает в манере Калло? Ему являются образы обычной жизни в его духовном внутреннем мире, и он показывает их теперь в блеске того фантастического величия, которое воплотила в жизнь его фантазия», – писал Гофман об эстетической манере Калло в предисловии к своему сборнику. Все они о путешествующих по жизни «энтузиастах». Таким был сам Гофман и его друг Кунц.

Кто же они, эти энтузиасты, какие ассоциации вызывали они у немецкого читателя начала XIX века? Их отличает совершенно невообразимое поведение (кстати, этим словом клеймил Лютер, уже перешедший на сторону князей, бунтарей, выступавших против установленного порядка, восставших крестьян и народных проповедников). «Появление энтузиастов в приличном обществе всякий раз сопровождается скандалом или, по крайней мере, падением чего-нибудь тяжёлого. Они не входят, а стремительно врываются, энергично жестикулируют и регулярно выпускают патетические вопли. Экспрессивность энтузиастов только подчёркивает их несовместимость с окружающим миром. Однако их появление приводит размеренную жизнь добропорядочных граждан в движение, подобно потоку свежего воздуха, ворвавшегося в наглухо запертую комнату», – пишет П. Левин, комментируя собрание сочинений Гофмана.

Таковы главные герои сказок немецкого писателя: «Буфонадное поведение энтузиастов открывает дорогу волшебству, предваряет появление в обычной жизни невероятных существ из параллельного мира, который на поверку оказывается лишь обратной стороной реальности. В этом особенность сказок Гофмана: действие происходит не «за тридевять земель» – волшебный мир рядом с читателем, нужно только уметь его увидеть. Поэтический мир имеет своё «зазеркалье», ночную (отсюда – «вигилии») сторону реальности, и поэтому герои его живут как бы двойной жизнью, в плоскости обыденного и иного мира».

Пересечение этих реальностей в «Золотом горшке», первой новелле из «Фантазий в манере Калло», создаёт сложный узор разных сценариев жизненного поведения героев. Гофман моделирует во всех отношениях счастливый финал: наивная поэтическая душа студента Ансельма (кстати, имя Ансельм соответствует по церковному календарю дню 18 марта дню рождения музы писателя, Юлии Марк) соединяется с возлюбленной Серпентиной в волшебной стране Атлантиде, а их «земные проекции» – регистратор Геебрандт и Вероника достигают благополучия в привычной реальности. Мечты героев исполняются, Гофман пишет, что сила желания Вероники вела её вовсе не к Ансельму, а к мечтаниям стать надворной советницей: «Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геебрандт сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме на Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимо ходящих щёголей, которые, лорнируя её, восклицали: «Что за божественная женщина надворная советница Геебрандт!»

Именно за эту авторскую иронию и за «чрезмерный» романтизм действительный тайный советник Гёте невзлюбил эту сказочную повесть. Когда он собирал книгу немецких романтиков для английского издания Томаса Карлейля (1827 года), он оставил повесть Гофмана без внимания. Так зло выразился он в своём дневнике о «Золотом горшке»: «Den goldenen Becher angefangen zu lesen. Bekam mir schlecht; ich verwünschte die goldenen Schlänglein»*.

Эта проблема балансирования между двумя мирами и страх упасть в чёрную меланхолию и душевную болезнь была знакома

* Начал читать Золотой горшок. Мне стало дурно, я проклинал золотую змею. (нем).

и русским художникам. Когда герой теряется в закоулках «тёмной стороны души», он становится, по выражению Белинского, «жертвой собственного воображения, игрушкой собственных призраков, мучеником несчастного темперамента, несчастного устройства мозга». Это цитата из статьи В.Г. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя».

И тут снова выходит на сцену Н.В. Гоголь. В «Невском проспекте» он как будто пытается закодировать себя от надвигающегося безумия. Тема художника и поэта – это собственный мир Гоголя, и наиболее выражен он в «Невском проспекте» и в «Портрете», второй повести из «Арабесок». Писал он их одновременно, и в той и в другой ярко выражен дисбаланс между миром обыденным и плодами творческого воображения. Быт петербургской художественной молодёжи был хорошо знаком писателю. Он посещал Академию художеств, где занимался живописью и встречался с молодыми художниками в поездках по Италии. Он много работал над архитектурными зарисовками и портретами, и, надо сказать, был талантливым художником; он прекрасно разбирался в истории западноевропейского искусства и населил свои петербургские повести фантомами теней великих мастеров Возрождения. И, безусловно, он был знаком с немецкой культурой и с творчеством своего предшественника Э.-Т.-А. Гофмана.

Когда читаешь «Невский проспект», то сразу возникают логические параллели с «Золотым горшком». Захватывает читателя панорама Невского проспекта с гуляющей публикой, среди которой мчится за своей мечтой, за своей музой главный герой, сама динамика повествования, в которой действие периодически сменяется меланхолией сновидений (у Гофмана – вигилий), и конец – исчезновение (у Гоголя – смерть героя). Так же, как у Гофмана, находим мы в повести Гоголя две противоположные пары: «возвышенно-романтическую» – художник (Пискарёв) и его Муза, и приземлённо-обыденную – поручик Пирогов и «дама его сердца», жена ремесленника, дородная немка.

Страшная ирония «Невского проспекта» в том, что любовные пары не находят романтического успокоения. Если у Гофмана Ансельм и Серпентина, дочь архивариуса Линдгорста, переселяются в волшебную страну Атлантиду, то Пискарёв, отравленный опиумом, кончает жизнь самоубийством, а его Муза оказывается девушкой из дома терпимости. Вторая пара – Вероника и

Геббрандт – у Гофмана счастливо празднуют свадьбу, тогда как у Гоголя во время первого свидания героев поручика Пирогова избивают и выталкивают взащей.

И вот тут возникает еще одна, самая главная параллель между двумя авторами. Когда Гоголь описывает быт немецких ремесленников в Петербурге, мы читаем: «Перед ним сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал «Вилгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, – не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера». Дальше следуют сцены воскресной попойки героев.

Перед представлением рукописи «Невского проспекта» в цензуру её по просьбе Гоголя просмотрел А.С. Пушкин, который писал автору: «Перечел с большим удовольствием; кажется, всё может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет. С Богом!» Из письма Пушкина видно, что Гоголь особенно боялся за сцену, рисующую расправу пьяных немцев-ремесленников над поручиком Пироговым. А.С. Пушкин назвал «Невский проспект» «самым полным из его произведений». Позднее Ф.М. Достоевский особо отмечал эту «немецкую сцену» в произведении Гоголя.

Но мне кажется, Шиллер упомянут тут не как автор «Вилгельма Телля», а как автор «Пуншевой песни», известной русскому читателю в знаменитом переводе А.С. Пушкина. Сразу же возникает параллель с судьбоносным пуншем, который пили герои Гофмана, а сам автор писал 15 февраля 1814 года в своём дневнике: «Vollendung des Märchens mit Glück beim Punsch»*.

Мне не хватало последнего ключика в подтверждение моей теории о диалоге двух авторов в их главных произведениях. Ещё один знак должен быть подан, и вот я читаю: «Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или со столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею».

* Завершение сказки со счастьем при пунше (нем).

Кунц – вот последняя параллель между Гофманом и Гоголем! Ключик найден. Да это же тот самый Карл Фридрих Кунц, владелец винного кабака и библиотеки, первый редактор и издатель Гофмана, его верный друг. Он настолько был увлечен пуншевыми вигилиями с друзьями, что его покинула жена с детьми. Но до сих пор в музее Гофмана в Бамберге хранится дверной молоток с его двери, отлитый в виде головы старухи, которая стала прообразом ведьмы в сказке Гофмана.

* * *

Волею судьбы ровно через двести лет после первого посещения Э.-Т.-А. Гофманом Дрездена приехала сюда и я с моей семьей. Мы поселились в доме у бывших Черных ворот города, где в старину производили казни, а в 1813 году дрезденцы встречали русские войска. Неподалеку отсюда, на Хольцхофгассе, жил Гофман. Первая глава «Золотого горшка» начинается так: «В день Вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек»... Когда вчитываешься в злоключения студента Ансельма, перед глазами встают не фантазмагорические образы автора, а реальные улицы Дрездена, цветущие деревья на берегах Эльбы, гуляющая праздничная публика в Линковых купальнях и у Козельского сада, грандиозный фейерверк над Цвингером и над Эльбой, а надо всем этим – торжественный гул колоколов в праздник Вознесения на Крестовой церкви.

Ирина Шиповская родилась в Москве, окончила факультет станковой графики Московского Художественного института имени В.И. Сурикова, с 1991 по 1998 работала художником в «Литературной газете». Участник выставок в России, Голландии, Франции, Германии. Живет в Дрездене.

ББК84. Р7

С 28

«Северная Аврора 14/2011»

М42 Литературно-художественный журнал

Издательство «Скифия», 2011. – 224 с.

ISBN 978-5-903463-59-6

Некоммерческое благотворительное издание.

Главный редактор и учредитель

Евгений Лукин

Журнал зарегистрирован
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС 2 – 8848 от 22.10.2007

Адрес редакции:

191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.1, оф. 12

Контактный телефон: +7-911-771-63-73

E-mail: lukin.evgeny@yandex.ru

www.avrora-lukin.ru

Издательско-торговый дом «Скифия»

191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 25.

(812) 571-68-54

e-mail: skifiabook@mail.ru

www.skifiabook.ru

Подписано к печати 06.07.2011 г. Формат 60x84^{1/16}.

Бумага офсетная «светокопи». Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».

Печ. л. 13. Перспективный тираж 1000 экз (1 завод – 300 экз). Заказ № 25

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Контраст»

Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 27.





СЕВЕРНАЯ АВРОРА 14'2011

СВ'2011



СЕВЕРНАЯ
АВРОРА